

**НИЩЕНКА С
ПЕЧАТЬЮ
ДРАКОНА
ВОЗВРАЩЕНИЕ ПО
ПРИКАЗУ КОРОЛЯ**

Александр Витальев

Александр Витальев
Нищенка с печатью
дракона. Возвращение
по приказу короля

<https://litres.ru/74073246>

SelfPub; 2026

Аннотация

Астрид лишили имени, состояния и дома. Теперь у неё снова есть печать дракона на запястье — и чужая невеста в его спальне. По закону зимнего цикла Дарвен обязан кормить и защищать бывшую жену до первого снега. Он платит — она молчит. Город считает дни до её позорного изгнания, но никто не спросил, готова ли она уйти на этот раз. История о цене прощения, чужой крови на чужой рубашке и о том, что иногда печать на запястье значит больше, чем клятвы у алтаря.

Содержание

Глава 1. Глашатай под мостом	4
Глава 2. Серая комната	27
Глава 3. Первый ужин	42
Глава 4. Чужая подпись	57
Глава 5. Лихорадка на кухне	72
Конец ознакомительного фрагмента.	85

Александр Витальев

Нищенка с печатью дракона. Возвращение по приказу короля

Глава 1. Глашатай под мостом

Я проснулась от того, что мост перестал пахнуть мочой и дымом. По камню, по моим бедрам, по моему единственному пальто полз чужой запах — дорогой, казённый, с нотой хвои и металла. Так пахнут гербовые перчатки на руках посыльных из ратуши. Я привыкла просыпаться раньше, чем меня успеют пнуть. Сегодня пнули не ногой — бумагой.

Свод арки надо мной дрожал от голоса. Глашатай стоял наверху, на парапете, в оловянном воротнике и с серебряной папкой под мышкой, и выкрикивал моё имя — полное, то самое, которое я уже три месяца слышала только в собственных снах. Астрид Сольвейн, урождённая хранительница рода Вейсгард. Бывшая. Нищая. Зимняя обуза.

Толпа под мостом стояла слишком тихо для рыночного утра. Обычно здесь шумели: тачки, лотки, чужие ссоры, мои собственные ссоры. Сейчас было слышно, как где-то на вер-

ху, у часовни, бьют колокол. Потом глашатай раскрыл папку, и голос его стал ровным, как линейка.

— По указу королевского суда, за подписью судьи Норвейн, — он начал читать медленно, по слогам, чтобы каждая буква упала в грязь. — Печать рода Серой Башни, отнятая у носительницы при разводе, оформленном с нарушением брачного контракта, возвращается законной владелице до окончания зимнего цикла. Носительница — Астрид. Ей и её кровному родичу, лорду Дарвену Вейсгарду, предписано...

Я не дослушала. Я смотрела на своё запястье. Там, под слоем грязи и подсохшей крови от вчерашней ссадины, кожа горела. Будто кто-то медленно, с удовольствием вдавливал в неё раскалённую монету. Это была та самая метка, которую я носила три зимы как жена и один месяц как вдова без мужа. Метка вернулась. Законно. При свидетелях.

Я села. Пальто, которое Тильда зашивала мне три раза, сползло с плеча. В толпе кто-то засмеялся — тихо, в рукав, но я слышала. Рядом со мной на камне сидела Марта, спала, привалившись к моему бедру. Она проснулась от звука моего имени и теперь смотрела на меня снизу вверх, не мигая. — Это про тебя? — спросила она шёпотом.

Я кивнула. Горло перехватило. Не от радости. От того, что я знала, что будет дальше. Когда закончат читать указ, придёт стражник с лентой через плечо. Меня оденут в серое платье, потому что у нищей драконьей жены не может быть ни

зелёного, ни синего. Поведут через весь город, мимо рыбного ряда, мимо собора, мимо дома Илмы Верейн, где на окне стоит фарфоровый лебедь, подаренный моим бывшим мужем. И там, на площади у Серой Башни, меня встретит Дарвен. Не как жену. Как улику против собственного рода.

Глашатай спустился по ступеням, тяжело дыша. За ним шли двое стражников в синих плащах с гербом города — не рода, города, что было особенно унизительно. Один нёс свёрток. Я уже знала, что внутри. Серое платье. Простое, закрытое, с длинными рукавами, чтобы скрыть печать, пока её не объявят вслух. Я видела такие платья на женщинах, которых приводили в ратушу для опознания.

— Иди, — сказала Марта. — Не оглядывайся.

Я встала. Колени затекли, в боку стрельнуло. Стражник с плащом остановился в двух шагах и посмотрел на меня так, как смотрят на тюк, который надо донести и не уронить. Он развернул свёрток.

— Руки, — сказал он.

Я протянула левое запястье. Печать горела ровным серебром. В ней уже проступил знакомый рисунок — драконья спираль рода Вейсгард, та самая, которую я думала, что сожгла вместе с прошлой жизнью. Стражник посмотрел, кивнул и сам накинул на меня серое платье поверх пальто. Ткань была грубая, новая, пахла крахмалом и чужой судьбой.

— Пойдёшь тихо, — сказал он. — На вопросы не отвечать. На имя отзываться.

— У меня есть имя, — сказала я.

Он не ответил. Только посмотрел на меня, как на вещь, которая пока не поняла своей новой цены.

Из-за поворота, от часовни, показалась процессия. Впереди — мальчик в ливрее с гербом Серой Башни. За ним — женщина в чёрном, с ключами на поясе. Домоправительница. Я знала её в лицо. Она подавала мне чай три зимы подряд, называла меня «миледи» и кланялась ниже, чем требовал этикет. Сейчас она смотрела прямо перед собой.

Я сделала шаг. Потом ещё один. Мост остался за спиной. Тильда стояла у своей таверны, скрестив руки на груди, и молча смотрела, как меня уводят. Я не оглянулась. Марта сказала — не оглядывайся. Я не оглянулась.

У ворот Серой Башни толпа стала гуще. Кто-то шикнул, кто-то зашептал. Я подняла голову. На крыльце стоял Дарвен. Он был в чёрном, как в день, когда хоронил отца. Руки за спиной. Лицо — камень. Я остановилась в трёх шагах от него. Печать на запястье горела так, будто хотела прожечь мне кость.

Он смотрел на меня. Не отводил взгляд. Впервые за три месяца.

Я не отвела взгляда первой. Стояла на нижней ступени, серая ткань путалась в ногах, печать на запястье билась в такт сердцу, и я ждала, пока он заговорит. Не как жена ждёт мужа, не как нищенка ждёт подачки — как человек, у которого отняли имя и теперь вернули часть букв, а он стоит и

смотрит, достоин ли я получить остальные.

Толпа за моей спиной притихла до звона в ушах. Домоправительница в чёрном сделала шаг вперёд, раскрыла ладонь, и на ней лежал ключ. Тяжёлый, медный, с кольцом в форме драконьей головы. Тот самый, от аптечной кладовой. Три зимы я носила его на поясе вместе с остальными, потому что хранительница рода отвечает за травы, за кровь, за больных слуг и за постель лорда в одинаковой мере. Потом ключ забрали вместе с остальным.

— Астрид, — сказал Дарвен. Голос ровный, без хрипоты, как будто три месяца он не пил и не спал, а только репетировал это имя. — Подойди.

— Я стою, — ответила я. — Ты видишь.

Он не двинулся. Домоправительница переступила с ноги на ногу, и в толпе кто-то хихикнул. Я не повернула головы, но по шее прошёл холод — тот особый холод, когда понимаешь, что тебя видят не одну. Дарвен сделал шаг. Один. Потом второй. Остановился так близко, что я почувствовала запах его одежды — можжевельник, холодный пот и чужая нотка духов, которых я раньше у него не знала. Ингрид. Илма. Новая невеста, о которой я узнала в ту же неделю, когда меня выставили за ворота.

— Ключ, — сказала домоправительница, и в её голосе было то самое чужое «миледи», вывернутое наизнанку. — По регламенту зимней опеки, носительнице печати возвращается право на аптечную кладовую и личную комнату.

— Личную? — переспросила я. — Мои покои заняты.

— Вам приготовлена комната под лестницей, — сказала она ровно. — По выбору дома.

— Это не мой выбор.

— Это выбор лорда, — ответила она, не глядя на Дарвена.

Я посмотрела на Дарвена. Печать горела сильнее, и я впервые подумала, что она не просто метка, а зверёк, который чувствует, когда рядом с ним врут. Он встретил мой взгляд. Ниже, в челюсти, дрогнул мускул. В этом доме я научилась читать его лицо, как аптечную этикетку, и сейчас на этой этикетке было написано: он не выбирал. Это выбрал Рогнар. Это выбрал кто-то, кому было удобно положить меня под лестницу, как запасное пальто на зиму.

— Принимаю кладовую, — сказала я. — Комнату — об-
сужу позже.

Домоправительница опустила руку с ключом. Толпа качнулась, кто-то кашлянул. Я не взяла ключ. Сказала:

— Положи на стол в прихожей. Я возьму сама, когда войду. Не хочу, чтобы мои руки пачкали чужие перчатки.

Это было жестоко, и я это знала. Домоправительница побелела, но кивнула. Дарвен чуть наклонил голову — то ли одобрение, то ли удивление, то ли боль в старом шраме, который я однажды зашивала ему сама, без помощи, потому что лекарь опоздал к рассвету.

— Зайди в дом, — сказал он тихо. — Люди смотрят.

— Пусть смотрят, — ответила я. — Я три месяца спала

под их мостом. Теперь их очередь смотреть, как я захожу в твои двери.

Он отступил. Не на шаг — на полшага, ровно столько, чтобы между нами мог пройти ещё один человек, и этот человек сразу прошёл: мальчик-посыльный в ливрее, с подносом, на котором стояла чашка горячего взвара и лежал кусок хлеба, накрытый чистой тряпицей. Я узнала этот хлеб. Тильда пекла такой только по воскресеньям, с тмином и солью, для тех, кого уважала. Значит, она всё-таки слышала глашатая и успела сунуть свою долю в ливрею посыльного, пока стража не заметила.

Я взяла хлеб. Отломила корку. Пожевала медленно, глядя Дарвену в переносицу, потому что глаза я ему не обещала. Сделала шаг мимо него. Платье зацепилось за его сапог, я дёрнула ткань, она затрещала по шву. Он не помог. Только сказал вслед:

— Комната под лестницей запирается изнутри. Ключ у тебя. Я прикажу принести второе одеяло.

Я остановилась на пороге. Печать на запястье остыла ровно на один градус — с такого жара, что хотелось сунуть руку в снег, до простой, терпимой боли. Это значило, что я снова под его кровом. Это значило, что закончилась зима под чужим мостом и началась другая, в четырех стенах, где пахнет его можжевельником и чужими духами.

— Не нужно, — сказала я, не оборачиваясь. — У меня есть пальто.

И вошла в дом, жуя хлеб Тильды, оставляя крошки на половицах, которые три зимы подряд натирала сама.

Прихожая пахла лавандой и дымом — кто-то жег в жаровне ароматическую щепу, чтобы перебить холод с улицы, и от этого запаха у меня сжалось горло. Лаванду в жаровню клала я. Каждое утро, после уборки, пока вода в котле не остыла. Три зимы подряд, по одной и той же щепотке, в одну и ту же минуту, и дом привык. Теперь он ждал запаха и не получал, и кто-то догадался подсунуть ему суррогат — слаще, грубее, с примесью чужого масла. Я узнала эту марку. Ингрид привезла её с собой из столицы, в фарфоровой шкатулке, обитой голубым бархатом.

Я не стала задерживаться. Прошла мимо вешалки, на которой висело его пальто — то самое, серое, с медными пуговицами, — и моё старое, зелёное, с меховым воротником, которое я когда-то сама кроила по его мерке. Его пальто висело на моём крючке. Это была мелочь, и именно от неё заныли зубы. Потом я остановилась над столом. Ключ лежал на лакированной поверхности, на том самом месте, где я обычно оставляла записки для кухарки. Домоправительница положила его, как полагается, рядом с подносом для визитных карточек, но поднос был чужой, ореховый, с инкрустацией, и карточки в нем были другие. Имя Ингрид Верейн, витые буквы, выжженные по дереву. Мое имя с этого подноса стерли. Не выбросили — стерли, аккуратно, чтобы не повредить лаку.

Рука сама потянулась к ключу. Я остановила её на полпути, потому что печать на запястье снова дернулась — коротко, как пульс чужого сердца. В этом доме печать всегда читала чужой страх, и сейчас она читала мой, и я не хотела давать ей это на завтрак. Сначала — вдох. Потом — ключ. Медленно, двумя пальцами, за кольцо, не касаясь металла ладонью. Домоправительница стояла за моей спиной и слышала, как лязгнул замок, когда я убрала ключ в карман серого платья. Карман был чужой, пришитый наспех, грубой ниткой, и от этого ключ в нем лежал косо, колот бедро при каждом шаге. Я не стала поправлять.

— Где Ингрид? — спросила я, не оборачиваясь.

Домоправительница помолчала. Я почувствовала, как она подбирает слова, как будто раскладывает по полочкам белье в чужом комод.

— В своих покоях, — ответила она наконец. — Утром она не выходит. Пьет шоколад и читает письма.

В моих покоях, поправила я мысленно. Утром я тоже пила шоколад и читала письма — лекарские, от сестры Вейры, от поставщиков трав, иногда от его матери. Теперь это делала другая женщина, в моей спальне, за моим столиком, и запах её шоколада смешивался с лавандой, которую я больше не зажигала.

Я пошла к лестнице. Не к парадной, по которой водили гостей, а к боковой, узкой, с вытертыми ступенями, по которой слуги таскали воду и дрова. Она вела в кухонное крыло,

к кладовым, к комнате под лестницей, которую мне приготовили. Печать на запястье остывала с каждым шагом, как будто дом признавал меня по голосу шагов. Я знала, какая третья ступенька скрипит. Знала, где перила чуть шершавые, потому что их обглодала собака, которую я выходила после погони. Знала, на какой высоте в стене спрятана ниша для свечи, и в нише до сих пор лежал мой огарок, белый, с оплывшим боком.

Дверь в каморку была приоткрыта. Внутри горел ночник, на узкой кровати лежало серое одеяло, на табурете стоял кувшин с водой. Я вошла. Потолок здесь был низкий, и я могла коснуться его рукой, не поднимая локтя, — это была кладовка для прислуги, которую я сама приспособила под лечебную каморку в первую зиму, когда в замке случилась лихорадка. Тогда здесь стоял мой травник, сушились пучки мяты и чабреца, на стене висел список больных по этажам. Сейчас стены были голые, чистые, выскобленные до белизны. Кто-то вымыл эту комнату так, чтобы от меня здесь не осталось ни одной моей вещи. На подоконнике лежала записка. Без подписи, сложенная вчетверо, с неровным сгибом, как у человека, который писал на коленях.

Я развернула. Почерк был Линнин, мягкий, с круглыми буквами, и я узнала его раньше, чем прочла первое слово.

«Она в твоей спальне. Он спит в кабинете. Рогнар вчера приезжал, требует денег. Будь осторожна у кладовой — замок сменили».

Я перечитала дважды. Потом сложила записку вчетверо, как она лежала, и спрятала в карман, к ключу. Ключ кольнул бедро, и я на секунду подумала, что это Линна толкает меня в бок, чтобы я не забыла, зачем сюда пришла.

Ступенька над головой скрипнула. Не третья, а вторая — кто-то спускался по лестнице медленно, тяжело, припадая на правую ногу. Я знала эту походку. Он всегда так ходил, когда болела старая рана, — левая нога, от бедра, память о той зиме, когда его сбросила лошадь в горах и я зашивала его при свечах, без лекаря, без ассистента, потому что лекарь сбежал, а ассистент был пьян. Походка была моя, и боль в ней была моя, и я ненавидела её сильнее, чем всё остальное в этом доме, вместе взятое.

Он остановился за дверью. Я слышала его дыхание — ровное, сдержанное, с той короткой хрипотцой на выдохе, которая появлялась, когда он не хотел, чтобы его слышали. Он знал, что я здесь. Я знала, что он знал. Между нами была дверь, не запертая, потому что я еще не повернула ключ, и он не постучал, и я не окликнула.

— Вода в кувшине, — сказал он наконец. — Ключ от кладовой у тебя. Если что-то понадобится — пошли мальчишку.

Я молчала. Смотрела на стену, на которой когда-то висел мой список больных, и ждала, пока он уйдет. Он не уходил. Стоял за дверью, и я слышала, как он переступил с ноги на ногу, и переступил еще раз, и рана в бедре отозвалась коротким стоном, который он привычно проглотил. Я знала, что

если я сейчас открою дверь, он сделает полшага назад, как у крыльца, ровно столько, чтобы между нами мог пройти посторонний. Я знала, что если я не открою — он простоит здесь до утра, потому что он тоже умел ждать, когда хотел, и хотел он сейчас одного: чтобы я хоть раз попросила его войти.

Я повернула ключ. Замок лязгнул. С той стороны раздался короткий выдох — не облегчения, не разочарования, а чего-то третьего, для чего у меня нет слова, и я не собиралась его искать.

Потом его шаги поднялись по лестнице. Скрипнула вторая ступенька. Третья. Тишина.

Я села на кровать, достала из кармана ключ, положила рядом с запиской Линны. За окном начинал идти снег, первый в этом году, и печать на запястье впервые за три месяца была теплой, как живая.

Я не сразу встала с кровати. Сидела, пока печать на запястье не остыла до обычной, почти нечувствительной, и только тогда поднялась, нащарила ногами чужие войлочные туфли у порога. Они были новые, с жестким задником, и я поняла, что их принесли заранее, пока я спала под мостом, — кто-то снял мерку с моих прежних, оставшихся в чулане, или просто угадал размер. Эта забота была хуже холода. Забота означала, что меня ждали.

Записку Линны я перечитала третий раз и поднесла к ночнику. Уголок занялся маленьким синим пламенем, бумага

сгорела быстро, я бросила её в кувшин с водой и смотрела, как пепел расплывается серым облаком. Ключ от кладовой остался лежать на табурете, рядом с огарком свечи в нише, которая тоже была моя.

Спускаться в кухню я не стала. Вместо этого подошла к окну. Окно выходило на задний двор, на конюшню, на дальний угол ограды, за которым начиналась дорога к городу. Снег валил гуще, крупными хлопьями, и в этом снегу, у самых ворот, стоял человек в плаще с капюшоном, по пояс в сугробе, и делал вид, что не смотрит вверх, на мое окно. Я узнала его по осанке, даже не видя лица. Роэн Карстен. Поверенный. Тень Дарвена. Он всегда стоял так, будто земля под ним чужая и он терпит её из милости.

Я отошла от окна. Меня он видеть не мог — ставни были закрыты, а свеча стояла глубоко в нише, — но он знал, что я здесь, потому что дом ему уже доложил. Роэн всегда знал, в какой комнате я сплю, сколько раз я выхожу и кому кланяюсь в коридоре. В первые месяцы брака я думала, что это забота, потом — что привычка, потом прочла одно из его писем к Дарвену, случайно, не вскрывая, потому что печать на сургуче была сломана, и там было написано: «она улыбнулась кухарке, это не к добру». С того дня я перестала улыбаться кухарке при нем.

Коридор за дверью был пуст. Я прошла по нему босиком, войлочные туфли несли меня почти бесшумно, и это было неправильно — в доме, где я когда-то ходила в подкованных

башмаках и стучала каблуками по камню, чтобы слуги слышали: хозяйка идет. Теперь я кралась, и стены это запомнили.

У двери в кладовую я остановилась. Замок был новый, латунный, с двумя бородками, и на нем висела бирка с номером, выбитым мелким шрифтом. Я вынула ключ из кармана, поднесла к скважине и вдруг поняла, что не могу вспомнить, какой поворот — первый, какой второй. Ключ от кладовой я носила три зимы, и пальцы помнили, но голова отказала, и я стояла, как нищенка у чужой двери, с протянутой рукой, в которой не было монеты.

Ключ вошел с первого раза. Один поворот, другой. Замок открылся мягко, по-новому, без привычного скрежета, и кладовая пахнула не мятой и чабрецом, а камфарой и сухим лавром, чужим, аптекарским, с дальней полки.

Я вошла. Свет сюда почти не доходил, только узкая полоса из коридора, и в этой полосе я увидела свои склянки. Они стояли на нижней полке, в ряд, все до единой, с моими этикетками, с моим почерком, с моими датами сбора. «Мелисса, лето 4», «Кора ивы, осень 4», «Мать-и-мачеха, весна 3». Их не выбросили. Их сняли с верхних полок, где я их хранила, и поставили вниз, как провинившуюся посуду, и я поняла, что это сделал Роэн, потому что только он в этом доме знал, что верхняя полка — моя, а нижняя — для прислуги.

Я взяла склянку с мелиссой. Пальцы нашли крышку на ощупь, открутили, и запах ударил мне в грудь, сладкий, тя-

желый, летний, и я вдруг вспомнила, как собирала её в горах, в той долине за перевалом, где Дарвен впервые нес меня на руках через ручей, и я смеялась, и он смеялся, и мелисса пахла точно так же, и снег тогда еще не выпал.

Печать на запястье дрогнула. Не обожгла, нет, просто дрогнула, как будто дом спросил: ты остаешься? Я поставила склянку на место, аккуратно, на нижнюю полку, туда, куда её определил Роэн, и вышла из кладовой, не заперев замка.

Я остановилась в коридоре у двери в кухню и прислушалась. Там, за дубовой створкой, звякала посуда, и голос Тильды — нет, не Тильды, это была другая кухарка, молодая, с гладкими руками и привычкой греметь сковородой, — выводил какую-то припевку, и припевка была фривольной, и я поняла, что меня здесь уже не ждут, потому что ждут Ингрид.

Я пошла дальше. Коридор вел мимо кладовой для прислуги, мимо комнаты, где раньше спал Роэн, мимо узкого окна с видом на конюшню, и я машинально считала двери, как считала их в первую зиму, когда еще была здесь чужой и завидной. Сейчас я была чужой без зависти, и это было хуже.

В конце коридора была дверь в аптекарскую. Не та кладовая, куда меня только что пустили, а малая, для трав, для настоек, для тех вещей, которые нельзя держать на виду. Я знала, что она заперта, и знала, у кого ключ.

Я постучала. Раз. Два. Третий раз — костяшками, тихо, чтобы не слышали в столовой.

За дверью было тихо. Потом шаг, тяжелый, неровный, будто человек на ходу переобувался, и дверь открылась, и в проеме стояла женщина, которую я здесь не ожидала. Сестра Вейра. В темном платье, с дорожной сумкой через плечо, с тем лицом, которое я помнила с двенадцати лет, — спокойным, как стена, и таким же теплым.

— Ты, — сказала она.

— Я, — ответила я, и голос у меня сел, потому что я не видела ее восемь месяцев, с тех пор как она в последний раз пришла под мост и оставила мне сверток с сухой корой и ни слова, кроме «ешь».

Она не впустила меня внутрь. Она отступила, оставив дверь открытой, и я вошла, и комната была маленькая, низкая, с каменным полом и запахом полыни, и на столе лежал раскрытый саквояж, а в саквояже — бинты, и мази, и ножницы с костяной ручкой, и я поняла, что она здесь не случайно.

— Тебя вызвали, — сказала я.

— Меня попросили, — ответила она. — Лорд Вейсгард прислал записку три дня назад. Я не отвечала. Сегодня прислал повторно, с нарочным, и в записке было одно слово: «печать».

Я села на табурет у стены. Ноги у меня были ватные, и это было не от голода, а от того, что я вдруг поняла, зачем она здесь, и поняла, что Дарвен не стал ждать, пока я сама приду к нему.

— Она активировалась, — сказала Вейра, не глядя на ме-

ня. — Печать. Я чувствовала ночью, у себя в лазарете. Дальняя связь. Она горела у тебя на запястье?

— Дрогнула, — ответила я.

— Дрогнула, — повторила Вейра. — Это значит, что кровный родич рядом, в одном доме, и что он болен, или ранен, или в опасности. Это значит, что печать проверяет, стоит ли нести его.

Я посмотрела на свое запястье. Кожа была чистой, рисунок — не виден глазу, только на ощупь, — но место, где он лежал, было теплее остального, как нагретый на солнце камень.

— Я не понесу его, — сказала я. — Это не моя забота.

— Забота, — сказала Вейра. — Это его дом. Ты в его доме. Печать не спрашивает, хочешь ты или нет. Она спрашивает, можешь ли ты. А ты можешь, Астрид. Ты единственная в этом доме, кто умеет перевязать рану так, чтобы человек не умер от гниения.

Я молчала. Вейра открыла свой саквояж, вынула из него сверток, развернула на столе, и там лежали мои руки — стерильный бинт, марля, жгут, две ампулы с мутной жидкостью, которую я узнала по запаху, не открывая, — вытяжка из коры ивы, моя, старая, та, которую я варила три года назад и оставила в лазарете на хранение.

— Он порезался, — сказала Вейра. — Лорд. Сегодня утром, в оружейной. Глупо, по-мужски, точильным камнем. Рана рваная, от плеча до локтя. Линна, его горничная, пере-

бинтовала, но бинт уже мокрый. У него поднимается жар.

— Почему ты не со мной сразу?

— Потому что я здесь не за этим. Я здесь потому, что он послал за мной. А ты здесь потому, что он послал за тобой. Но не написал, — она посмотрела на меня. — Он не посмел написать тебе.

Я встала. Табурет скрипнул по каменному полу. Вейра протянула мне сверток, и я взяла его, и руки у меня не дрожали, потому что я уже три месяца училась держать руки так, чтобы они не дрожали.

— Пойдем, — сказала Вейра.

Мы вышли в коридор. Вейра шла впереди, я за ней, и сверток был тяжелый, и я чувствовала его вес на запястье, там, где печать, и печать была теплая, и я знала, что она будет теплее с каждым шагом к его двери.

Лестница на второй этаж была кованая, с дубовыми перилами, и на каждой ступени лежал коврик, чтобы шаги были глухими, и я подумала, что Дарвен когда-то клал эти коврики ради меня, потому что я приходила к нему ночью и не хотела будить дом.

Дверь в его спальню была приоткрыта. Внутри горел камин, и пахло кровью, и железом, и тем самым одеколоном, который я учуяла утром в коридоре, и я поняла, что он не один.

Линна стояла у кровати, бледная, с мокрым бинтом в руках, и Ингрид сидела в кресле у окна, в бледно-голубом пла-

тье, с кружевным платком у рта, и она не смотрела на рану, она смотрела на Линну, и во взгляде у нее было то самое выражение, которое я видела у женщин, когда они впервые видят, что любимый мужчина смертен.

— Вон, — сказала Ингрид, не глядя на меня. — Сейчас выйдет сестра Вейра.

Вейра вошла в комнату, и Ингрид повернулась к ней, и лицо у нее стало мягким, и я увидела, как она улыбается, как она встает, как она подходит к Вейре, и я услышала, как она говорит: «Наконец-то, сестра, я думала, он умрет», — и голос у нее был ровный, и рука легла Вейре на плечо, и я стояла в дверях, и сверток ждал моих рук.

Дарвен лежал на кровати, на животе, в расстегнутой рубашке, и рукав был закатан до локтя, и я видела рану, и она была хуже, чем я думала. Рваная, длинная, с запекшейся кровью и желтым краем, и бинт уже присох, и его нужно было снять, иначе гниение пойдет под повязку, и я знала это, потому что я снимала такие повязки тридцать раз в своей жизни, и каждый раз мужчины кричали.

— Я сама, — сказала я, и мой голос прозвучал громче, чем я хотела.

Ингрид обернулась. Линна замерла. Вейра молча отступила к стене и сложила руки на груди, как делала всегда, когда передавала меня в работу.

— Ты не лекарь, — сказала Ингрид.

— Я была лекарем в этом доме четыре года, — ответила я.

— Я лечила его от лихорадки, когда он сломал ногу на охоте. Я сшивала ему бок после того, как на него напала собака лорда Карстена. Я его лечила, когда он не мог поднять руку, потому что в плече застрял обломок стрелы. Я его лечила, когда он не помнил, какой сегодня день.

— Ты его бывшая жена, — сказала Ингрид. — Не лекарь. Я посмотрела на нее. Она была красивая, и платье на ней было новое, и кружево у рта было чистое, и она стояла между мной и кроватью, как будто кровать была ее, а я была гостьей, которая просится войти.

— Я в этом доме по закону, — сказала я. — Как и вы. Моя печать — на мне, ваше присутствие — на словах. Я могу уйти, и вы останетесь с Линной и мокрым бинтом.

Ингрид не ответила. Она посмотрела на Вейру, и Вейра не кивнула, и не покачала головой, а только смотрела на Ингрид, как смотрят на ученицу, которая задала глупый вопрос на экзамене.

— Она права, — сказала Вейра. — Дайте ей пройти.

Ингрид отошла. Линна отошла. Я подошла к кровати, и Дарвен поднял голову, и глаза у него были мутные, и лоб — влажный, и он смотрел на меня так, как смотрел только он, когда хотел, чтобы я была рядом, и не мог сказать об этом вслух.

— Здравствуй, — сказал он.

— Молчите, лорд, — ответила я, и взяла его руку, и кожа у него была горячая, и печать на моем запястье вспыхнула,

тихо, почти не больно, как будто дом наконец согласился, что я здесь.

Я размочила бинт. Кровь потекла по моим пальцам, теплая, липкая, и я подумала, что я ненавижу его кровь, и тут же подумала, что я скучала по его крови, и тут же себя возненавидела.

— Держите руку ровно, — сказала я. — Если дернетесь, я вколю вам обезболивающее, и вы уснете, и тогда я зашью рану, как захочу, и шрам будет кривой.

— Пусть кривой, — сказал он.

— Молчите, — повторила я, и игла вошла в кожу, и он дернулся, и я перехватила его руку, и держала крепко, и Линна ахнула, и Ингрид закрыла лицо платком.

Через час рана была зашита. Бинт лежал ровно, плотно, и край его был подвернут, как я любила, и я знала, что к утру жар спадет, и что через три дня он сможет двигать рукой, и через неделю — поднять меч, если он будет дурак, а он будет дурак, потому что мужчины всегда дураки, когда у них заживает рана.

Я вымыла руки в тазу, который подала мне Линна, и вытерла их о полотенце, и полотенце было серое, монастырское, и я поняла, что Линна достала его из моей старой аптечной, и это было ее тихое «спасибо».

Вейра ждала меня в коридоре. Ингрид осталась в спальне, и я слышала, как она говорит Дарвену что-то нежное, и он отвечал ей односложно, и я знала, что он смотрит не на нее,

а на дверь, в которую я вышла.

— Ты молодец, — сказала Вейра.

— Я лекарь, — ответила я.

— Ты его лекарь, — сказала она, и я не стала спорить, потому что в этом была правда, и от правды у меня горело запястье, и эта боль была хуже, чем ожог.

Я спустилась в холл, и холл был пуст, и ковер под моими ногами был мягкий, и я знала, что наверху Ингрид сидит у его кровати, и что Линна подает ей чай, и что Дарвен смотрит в потолок, и думает обо мне, и я знала, что он не позовет меня, потому что он не умеет просить, и я знала, что я все равно приду завтра утром, потому что бинт нужно менять, и это мой бинт, и моя нить, и моя игла.

Я села на ступеньку лестницы, прямо на коврик, который он когда-то клал ради меня, и положила руки на колени, и печать на запястье остыла, и я почувствовала, как по щеке у меня ползет слеза, и я не стала ее вытирать, потому что в доме никого не было, и я могла позволить себе одну слезу, только одну, и потом встать, и пойти в свою каморку, и лечь на узкую койку, и смотреть в потолок, и ждать утра.

В коридоре пахло подгоревшей кашей и чужим одеколоном. Слух уловил шаги наверху, легкие, женские, и я поняла, что Ингрид наконец проснулась и идет к завтраку. До моей каморки ей было три поворота, и она обязательно пройдет мимо кухни, где я буду сидеть через минуту, а может, и раньше, если не задержится у зеркала.

Я пошла к лестнице. Не к боковой, по которой ходила утром, а к парадной, по которой водили гостей. Войлочные туфли на ступенях из старого дуба звучали глухо, но шаг я не сбавила. На середине лестницы я остановилась и посмотрела вниз, в холл, где на ковре лежала моя тень — длинная, в сером платье, с чужой складкой на спине. Холл был пуст. Из столовой пахло хлебом и копченым салом, и я знала, что если я сейчас войду туда, то первое, что я увижу, — его руку на спинке её стула.

Я не вошла. Я повернула назад, к боковой лестнице, и с каждым шагом тень за моей спиной становилась короче, будто дом наконец-то перестал меня узнавать.

Глава 2. Серая комната

Каблуки стучали по камню внутреннего двора, и я перестала их считать где-то на двенадцатом шаге. Домоправительница Фрида шла впереди так, будто вела не бывшую хозяйку в её же собственный дом, а просительницу в чужую приёмную. Длинная юбка серого платья, в которое меня одели под мостом, хваталась за прутья старого плюща, и я дёргала ткань, не глядя.

— Сюда, — сказала Фрида, остановившись перед дверью в восточное крыло. Той самой дверью, у которой я когда-то сбивала колени о порог, когда Дарвен носил меня на руках через порог после венчания. Щёки у меня обдало жаром, и я прикусила язык изнутри, чтобы не выдать лицо.

Дверь открылась. На пороге стояла Ингрид. Волосы убраны под кружевную сетку, в руках — чашка с чем-то горячим, от которой тянуло мятой и корицей. Она улыбнулась мне так, как улыбаются девочке, случайно зашедшей не в тот класс.

— А, это ты, — сказала она. — Я думала, тебя поселят в башне. Там тише.

Я не ответила. Я смотрела мимо неё, в глубь комнаты, которую три зимы считала своей. На стене висел гобелен, вышитый моими руками в первый год замужества — кривой дракон с золотой чешуёй, которого я переделывала четыре раза, пока Дарвен не положил ладонь мне на спину и не ска-

зал «хватит, он живой». Теперь на подоконнике стояла ваза с сухими колосьями, а на кровати лежало покрывало не моей вышивки — чужое, шёлковое, голубое.

— Это временно, — быстро сказала Фрида, не глядя мне в глаза. — Лорд велел подготовить тебе комнату под лестницей, рядом с кладовой для трав. Там тепло, и есть окно.

— Под лестницей, — повторила я. Голос у меня вышел ровный, почти вежливый.

— Подальше от слухов, — добавила Ингрид, отпивая из чашки. — Люди болтают, ты же знаешь. А тут, в восточном крыле, каждый шорох слышно. Тебе самой будет спокойнее.

Я перевела взгляд на неё. Она была хорошенькая, этого у неё не отнять — мягкий овал лица, светлые брови, осанка девушки, которую с детства учили не горбиться. Я могла бы её ненавидеть, но во рту стояла горечь совсем другого вкуса: она заняла мою кровать, а он ей её отдал. Не она пришла и попросила — он дал.

— Ключ от аптечной кладовой, — сказала я, протянув руку к Фриде. Не попросила — потребовала. Печать рода на моём запястье холодком напомнила о себе, словно поддела под руку. По зимнему циклу я имела право на кров, еду и доступ к лечебным запасам рода. Не как гостя, не как бывшая жена — как носительница печати, которую корона вернула в этот дом при свидетелях.

Фрида замялась.

— У лорда, — сказала она наконец.

— Так сходи к лорду, — ответила я. — Я подожду здесь.

— В кладовой, — вдруг подала голос Ингрид, — сейчас всё переписано по описи. Без Рогнара туда никто не входит. Ты же понимаешь, дорогая, после развода многое перешло в ведение старейшины.

Я посмотрела на неё долго, секунд пять, не мигая. Она отвела глаза первой — чашка дрогнула у неё в пальцах, и я успела заметить, как на безымянном пальце блеснуло тонкое кольцо. Не его кольцо. Просто тонкий ободок, без камня. Но мой палец, на котором когда-то сидела его печатка, дёрнулся сам.

— Передай лорду, — сказала я Фриде, — что я жду ключ у двери в кладовую. И что если через час ключа не будет, я сама найду, где он лежит. Мне не привыкать рыться в чужих сундуках.

Фрида кивнула и быстро ушла по коридору, шурша юбкой. Ингрид ещё секунду постояла на пороге моей бывшей комнаты, потом отступила в глубь, не закрыв двери. Намеренно. Чтобы я видела, как там, на моей кровати, лежит её голубое покрывало, и как на туалетном столике стоит её флакон с розовой водой.

Я развернулась и пошла к лестнице. Каблуки опять застучали по камню, и я перестала их считать. Под лестницей действительно было тепло и действительно было окно — узкое, как бойница, выходящее на задний двор, где сушили бельё. В углу стояла узкая койка, застеленная серым солдатским оде-

ялом. На табурете у стены — кувшин с водой и глиняная миска.

Я села на койку, положив ладони на колени. Печать на запястье чуть потеплела, откликаясь на кров рода под этой крышей. Где-то наверху, в восточном крыле, в моей бывшей спальне, Ингрид сейчас пила мятный чай. Где-то в кабинете Дарвен, может быть, впервые за эту зиму слышал моё имя.

Я стянула с ноги тяжёлый башмак и вытряхнула из голенища медную монету — мою последнюю, спрятанную от глашатаев и стражников. Положила на край миски. Не потому что она мне сейчас нужна была, а потому что в этом доме я уже однажды осталась ни с чем, и второй раз не собиралась.

Когда в коридоре слышались его шаги — тяжёлые, неторопливые, я узнала бы их среди тысячи, — я не встала. Я смотрела в окно на мокрое бельё и ждала, пока он сам остановится у моей двери.

Его тень легла на порог раньше, чем он сам. Я слышала, как он остановился — не дошёл шаг, остановился, будто вспомнил, что за этой дверью не та женщина, к которой он привык входить без стука. Я не обернулась. В окне мокрое бельё колыхалось на ветру, мужская рубашка с чужого плеча хлопала по верёвке, и я считала эти хлопки, чтобы не считать удары собственного сердца.

— Астрид.

Голос низкий, осторожный, с той особенной хрипотцой, которая появлялась у него, когда он не знал, что сказать. Я

медленно повернула голову. Он стоял в проёме, и потолок над ним нависал так низко, что ему пришлось чуть опустить плечи. В камерке под лестницей драконий лорд выглядел чужим, слишком широким, слишком дорогим. Серый кафтан, серебряная цепь на груди, руки — те самые, которые когда-то подхватывали меня на этом же пороге. Сейчас они висели вдоль тела, как чужие.

— Ключ, — сказала я. Не «здравствуй», не «наконец-то», не «как ты мог». Ключ. Единственное слово, которое я могла себе позволить, не сорвавшись.

Он шагнул внутрь. В маленькой комнате сразу стало тесно, воздух потяжелел от запаха кожаной куртки и того одеколona, который я сама выбирала ему три зимы назад у южного торговца. Значит, флакон хранился где-то в его вещах. Значит, Ингрид пользовалась чем-то другим. Эта мысль кольнула где-то под рёбрами, и я тут же задавила её, как давят случайный синяк — больно, но терпимо.

— Ты могла бы попросить, — сказал он.

— Я попросила. Час назад. Фрида сказала — у лорда. Я жду.

Он смотрел на меня сверху вниз, и я видела, как у него двигаются желваки. Потом его взгляд скользнул по моим рукам, по серому платью, по башмакам, по монете на краю миски, и я увидела в его глазах что-то такое, от чего захотелось отвернуться. Жалость. Я встала, и койка скрипнула за моей спиной. В маленькой комнате мы оказались почти впитык,

и я почувствовала, как печать на запястье снова потеплела, отзываясь на близость кровного родича. Жар шёл по коже вверх, к локтю, к плечу, и я спрятала левое запястье за спину.

— По закону о зимней опеке, — проговорила я ровно, глядя ему в переносицу, чтобы не видеть глаз, — носительница печати имеет право на кров, пищу и доступ к аптечной кладовой рода. Это не просьба, Дарвен. Это условие, на котором меня вернули в твой дом.

— В мой дом тебя вернули без моего согласия.

Голос у него дрогнул на последнем слове, и я вдруг поняла, что он злится. Не на меня — на кого-то другого, на кого-то, кого здесь нет, на глашатая, на корону, на зимний цикл, на печать, которая жгла ему руку так же, как мне жгла запястье. Может быть, на самого себя. Я опустила глаза первая, потому что в этой комнате под лестницей он был выше меня на две головы, и тянуть шею вверх было унижительнее, чем молчать.

— Я не просила, чтобы меня возвращали, — сказала я тише. — Я спала под мостом.

Он дёрнулся, как от пощёчины. Я успела заметить, как его пальцы сжались в кулак, как костяшки побелели под загаром, и как он тут же заставил себя разжать руку. Молчание повисло между нами, тяжёлое, как мокрое бельё за окном. Потом он полез во внутренний карман кафтана и достал ключ — старый, медный, с насечкой в виде драконьей головы. Мой ключ. Тот самый, который он когда-то отдал мне в первую

зиму, со словами «теперь ты здесь хозяйка». Я узнала царяпину на бородке. Я сама её оставила, когда чинила замок.

Он положил ключ на табурет рядом с кувшином. Не мне в руку — на табурет. Между нами остался кувшин и полметра воздуха, и я поняла, что он не сделает последний шаг.

— Рогнар переписал описи, — сказал он, отступая к двери. — Если чего-то не хватает, скажи Фриде.

— Если чего-то не хватает, я спишу это с твоей зимней казны, — ответила я.

Он остановился. Полсекунды, не больше. Потом вышел, и его шаги по коридору зазвучали быстрее, чем обычно. Я села обратно на койку, взяла ключ и сжала его в кулаке. Медь была тёплая, почти горячая, будто он долго держал её в руке, прежде чем войти. Я поднесла ключ к губам и тут же отдёргнула — не от холода, от собственной слабости. Положила его в карман серого платья, туда, где раньше лежал платок с мятой.

За стеной кто-то шёл по коридору, и я узнала лёгкий стук каблучков Ингрид. Она прошла мимо, не остановившись, но я успела услышать, как она тихо сказала кому-то: «Он у неё был. Долго». Потом смех — короткий, женский, чужой. Потом тишина.

Я закрыла глаза и прижала ладонь с печатью к холодной стене. Ключ жег мне бедро сквозь карман, печать грела запястье, и я сидела так, пока бельё за окном не перестало хлопать.

Первый снег пошёл к вечеру, и через узкое окно под лестницей я видела, как белые хлопья ложатся на серую брусчатку двора. В каморке пахло сырой штукатуркой и чужим мылом — Фрида постаралась, но от этого старания стало только хуже, будто кто-то заранее оплакал моё возвращение. Я сидела на койке, положив ладони на колени. Печать на запястье чуть потеплела, откликаясь на кров рода под этой крышей. Где-то наверху, в восточном крыле, в моей бывшей спальне, Ингрид сейчас пила мятный чай. Где-то в кабинете Дарвен, может быть, впервые за эту зиму слышал моё имя.

Я стянула с ноги тяжёлый башмак и вытряхнула из голенища медную монету — мою последнюю, спрятанную от глашатаев и стражников. Положила на край миски. Не потому что она мне сейчас нужна была, а потому что в этом доме я уже однажды осталась ни с чем, и второй раз не собиралась.

Скрипнула половица в коридоре — и я замерла, не донеся руки до второго башмака. Шаги я узнала раньше, чем увидела тень на пороге. Тяжёлые, неторопливые, с той особенной паузой перед дверью, которую он всегда делал, прежде чем войти. Я не встала. Смотрела в окно на мокрое бельё и считала хлопки мужской рубашки на верёвке, чтобы не считать удары собственного сердца. Раз. Два. Три. Тень перекрыла полосу света на пороге.

— Астрид.

Голос низкий, осторожный, с той хрипотцой, которая появлялась у него, когда он не знал, что сказать. Я медленно

повернула голову. Он стоял в проёме, и потолок над ним нависал так низко, что ему пришлось чуть опустить плечи. Серый кафтан, серебряная цепь на груди, руки — те самые, которые когда-то подхватывали меня на этом же пороге. Сейчас они висели вдоль тела, как чужие.

— Ключ, — сказала я. Не «здравствуй», не «наконец-то», не «как ты мог». Ключ. Единственное слово, которое я могла себе позволить, не сорвавшись.

Он шагнул внутрь. В маленькой комнате сразу стало тесно, воздух потяжелел от запаха кожаной куртки и того одеколона, который я сама выбирала ему три зимы назад у южного торговца. Значит, флакон хранился где-то в его вещах. Значит, Ингрид пользовалась чем-то другим. Эта мысль кольнула где-то под рёбрами, и я тут же задавила её, как давят случайный синяк — больно, но терпимо.

— Ты могла бы попросить, — сказал он.

— Я попросила. Час назад. Фрида сказала — у лорда. Я жду.

Он смотрел на меня сверху вниз, и я видела, как у него двигаются желваки. Потом его взгляд скользнул по моим рукам, по серому платью, по башмакам, по монете на краю миски, и я увидела в его глазах что-то такое, от чего захотелось отвернуться. Жалость. Я встала, и койка скрипнула за моей спиной. В маленькой комнате мы оказались почти впритык, и я почувствовала, как печать на запястье снова потеплела, отзываясь на близость кровного родича. Жар шёл по коже

вверх, к локтю, к плечу, и я спрятала левое запястье за спину.

— По закону о зимней опеке, — проговорила я ровно, глядя ему в переносицу, чтобы не видеть глаз, — носительница печати имеет право на кров, пищу и доступ к аптечной кладовой рода. Это не просьба, Дарвен. Это условие, на котором меня вернули в твой дом.

— В мой дом тебя вернули без моего согласия.

Голос у него дрогнул на последнем слове, и я вдруг поняла, что он злится. Не на меня — на кого-то другого, на кого-то, кого здесь нет, на глашатая, на корону, на зимний цикл, на печать, которая жгла ему руку так же, как мне жгла запястье. Может быть, на самого себя. Я опустила глаза первая, потому что в этой комнате под лестницей он был выше меня на две головы, и тянуть шею вверх было унижительнее, чем молчать.

— Я не просила, чтобы меня возвращали, — сказала я тише. — Я спала под мостом.

Он дёрнулся, как от пощёчины. Я успела заметить, как его пальцы сжались в кулак, как костяшки побелели под загаром, и как он тут же заставил себя разжать руку. Молчание повисло между нами, тяжёлое, как мокрое бельё за окном. Потом он полез во внутренний карман кафтана и достал ключ — старый, медный, с насечкой в виде драконьей головы. Мой ключ. Тот самый, который он когда-то отдал мне в первую зиму, со словами «теперь ты здесь хозяйка». Я узнала царапину на бородке. Я сама её оставила, когда чинила замок.

Он положил ключ на табурет рядом с кувшином. Не мне в руку — на табурет. Между нами остался кувшин и полметра воздуха, и я поняла, что он не сделает последний шаг.

— Рогнар переписал описи, — сказал он, отступая к двери. — Если чего-то не хватает, скажи Фриде.

— Если чего-то не хватает, я спишу это с твоей зимней казны, — ответила я.

Он остановился. Полсекунды, не больше. Потом вышел, и его шаги по коридору зазвучали быстрее, чем обычно. Я села обратно на койку, взяла ключ и сжала его в кулаке. Медь была тёплая, почти горячая, будто он долго держал её в руке, прежде чем войти. Я поднесла ключ к губам и тут же отдёргнула — не от холода, от собственной слабости. Положила его в карман серого платья, туда, где раньше лежал платок с мятой.

За стеной кто-то шёл по коридору, и я узнала лёгкий стук каблучков Ингрид. Она прошла мимо, не остановившись, но я успела услышать, как она тихо сказала кому-то: «Он у неё был. Долго». Потом смех — короткий, женский, чужой. Потом тишина.

Я закрыла глаза и прижала ладонь с печатью к холодной стене. Ключ жег мне бедро сквозь карман, печать грела запястье, и я сидела так, пока бельё за окном не перестало хлопать. Потом встала, спрятала монету обратно в башмак и вышла в коридор — к аптечной кладовой, которую мне отпирал чужой ключ, в доме, где мне больше нечем было платить,

кроме собственного возвращения.

Коридор к аптечной кладовой пах сырой штукатуркой и жареным луком с кухни. Я шла мимо знакомых дверей и не узнавала их — кто-то перевесил таблички, на моей бывшей комнате для трав теперь висела латунная пластинка с вензелем Ингрид. На той, что была моей спальней, — ничего. Голая доска. Будто там никто никогда не жил. Я не стала задерживаться у этой двери. Мои щёки горели, и я знала, что если остановлюсь, то либо постучу, либо закрою лицо руками, и оба варианта мне не подходили.

Кладовая была в конце галереи, за поворотом. Дверь низкая, дубовая, с медной накладкой в виде свернувшейся змеи. Я вставила ключ, и замок поддался с тихим щелчком, который я тоже когда-то чинила. Внутри пахло сухим чабрецом, пылью и чем-то горьковатым, неуловимо знакомым. Я потянула воздух носом и почувствовала, как у меня свело живот. Полынь. Горькая полынь, которую я сушила прошлой осенью для родовых припарок. Значит, Ингрид не трогала эту полку. Значит, ей было всё равно, чем здесь пахнет.

Я зажгла свечу у двери и пошла вдоль стеллажей. Бинты. Медный купорос. Банки с прошлогодним малиновым вареньем, которое я варила для Дарвена, когда он кашлял по утрам. Я дотронулась до крышки, и пальцы у меня задрожали. Горлышко банки было холодное, и я вдруг очень ясно вспомнила, как помешивала варенье деревянной ложкой, а он стоял за спиной и грел мне шею своим дыханием. Я от-

дёрнула руку и прижала её к серому платью, к сердцу, чтобы унять дрожь.

Скрипнула дверь за спиной. Я не обернулась — по шагам узнала Фриду. Домоправительница вошла неслышно, как всегда, и встала у порога, сложив руки под фартуком. Она была уже пожилой, с тем лицом, на котором всё написано, и всё проговаривается через паузу.

— Госпожа, — сказала она. Не «леди Астрид», как раньше. Просто «госпожа». Статус обязывал.

— Фрида, — ответила я. — Мне нужен чистый бинт, спирт и сухой шалфей. Количество по списку.

Она не двинулась с места. Я медленно повернулась к ней, и свеча на стене бросила тень на мою скулу. Глаза у Фриды были мокрые, но губы сжаты.

— Описи переписаны, — сказала она. — Подписаны старейшиной Рогнаром. Травяная часть кладовой переведена на нужды невесты. Лорд Дарвен не видел новых описей. Я говорю вам это по старой памяти, госпожа, и больше ничего говорить не могу.

Я поставила свечу на полку. Руки у меня больше не дрожали.

— Сколько?

— Двенадцать банок спиртовых настоек. Восемь пучков сухих трав. Всё, что было вашего, госпожа. Забрали вчера после обеда.

Я посмотрела на полку, где стояла банка с малиновым ва-

реньем. Моим вареньем, которое никто не взял, потому что оно было не лечебное, а домашнее. Значит, Рогнар забрал всё, что можно продать или выдать за приданое Ингрид. Я провела пальцем по крышке банки и оставила на пыльном стекле чёткий след.

— Пусть он забирает всё, что считает своим, — сказала я тихо. — Включая эту комнату. Включая эту дверь. Включая мой голос за ужином. Только пусть вернёт мне то, что подписал моим именем. И пусть подпишет это собственной рукой, а не от имени лорда. Я хочу видеть его почерк.

Фрида посмотрела на меня так, как смотрят на чужого ребёнка, который делает что-то очень взрослое и очень неправильное.

— Госпожа, — сказала она, — вы можете потребовать вызов королевского оценщика.

— Могу, — согласилась я. — Но сначала я хочу посмотреть ему в глаза.

Я задула свечу, взяла с полки банку с вареньем и прижала её к груди. Она была тёплая от моих рук и немного липла к серому платью. Я вышла из кладовой, и Фрида осталась стоять в темноте, сложив руки под фартуком, как человек, который только что выбрал, на чьей он стороне. Я шла по коридору и считала свои шаги, чтобы не считать удары собственного сердца. Раз. Два. Три. На четвёртом я остановилась у своей бывшей двери, потому что за ней раздался смех Дарвена, низкий, осторожный, тот самый, который он поз-

волял себе только в кругу тех, кому доверял. Я постояла секунду, переложила банку из руки в руку и пошла дальше. На пятом шаге я остановилась снова, потому что дверь в его кабинет была приоткрыта и я успела увидеть край его рукава на спинке кресла и светлый локон Ингрид на его плече. Я успела увидеть, как её пальцы разглаживают складку у него на воротнике, и как он не отстраняется. Я успела увидеть это за один вдох и уйти на втором. Банка с вареньем жгла мне грудь сквозь серое платье, и я несла её, как несут чужого ребёнка, которого нельзя уронить.

В своей каморке под лестницей я поставила банку на табурет рядом с кувшином, туда, где час назад лежал мой ключ. Сняла башмаки. Спрятала монету обратно в голенище. Легла на койку, повернувшись лицом к стене. Печать на запястье снова стала тёплой, и я поняла, что Дарвен в эту минуту сидит в трёх шагах от меня, за стеной, в своём кабинете, и его рукав пахнет чужими духами. Я закрыла глаза и стала считать хлопки белья за окном, пока они не слились в один долгий, ровный звук. Потом перестала считать. Потом заснула, и мне ничего не снилось.

Глава 3. Первый ужин

Серое платье село по фигуре неправильно. Рукава были длинны, подол тянулся по полу, а ворот, явно рассчитанный на чужую шею, резал под горлом. Я дёрнула ткань, но стало только хуже: шов затрещал у плеча, и я замерла, чтобы не остаться в одном белье перед дверью, за которой уже ждали чужие глаза. Домоправительница Герда стучала костяшками ровно через минуту — так же, как стучала когда-то, когда я ещё была здесь хозяйкой. Только теперь в стуке не было почтительности, был регламент.

Тронный зал был слишком велик для ужина втроём. Длинный стол, свечи на серебре, пустые стулья по бокам — целая свита мест, которые никто не займёт. Я села напротив камина, где тепло шло прямо в лицо и можно было не смотреть на Ингрид. Она сидела ближе к Дарвену — конечно, ближе, — и ела аккуратно, как едят женщины, уверенные, что за ними наблюдают правильно.

Дарвен молчал. Он вообще почти не говорил с того часа, как меня впустили в замок. Приказ Герде отдать мне каморку под лестницей, короткий взгляд на печать у меня на запястье — и всё. Сегодня он впервые сел напротив меня за один стол, и от этого было хуже, чем когда мы просто жили в разных крыльях.

Я жевала хлеб медленно. Желудок сводило так, что я бо-

ялась проглотить кусок нормально — звук выдаст. Тильда под мостом научила меня есть тихо: маленькие куски, жевать долго, глотать с водой. Я и здесь ела, как под мостом, и злилась на себя за это.

— Как вам спалось, госпожа Верейн? — спросила Герда, наклоняясь к Ингрид. Голос был приторным, почти материнским.

— Благодарю, хорошо. Подушки здесь мягче, чем в нашем доме. — Ингрид улыбнулась, и я почувствовала, как эта улыбка прошла по коже холодом. — Правда, эта комната... такая светлая. Я просыпалась слишком рано. Хотя, может, это к лучшему. Утром успела обойти весь замок. У вас здесь уютно, Астрид, — она повернулась ко мне. — Особенно под лестницей. Там, говорят, всегда сухо.

Я подняла глаза. Она смотрела на меня так, будто делала комплимент кухарке за чистый пол.

— Под мостом было сырее, — сказала я. — Привыкла. Дарвен кашлянул. Я поймала его взгляд — короткий, тёмный — и тут же отвела свой. Не хватало ещё, чтобы он подумал, будто я прошу его о чём-то.

Ингрид промокнула губы салфеткой.

— А я слышала, под мостом не только сыро. Говорят, там по ночам... ну, вы понимаете. Не одна же вы там были. — Она засмеялась, тихо, будто сама испугалась своей шутки. — Впрочем, после развода чего только не бывает.

Тишина ударила по ушам. Я перестала жевать. Слух —

старый, грязный, из тех, что ползли по рынку всю зиму, — был про мужчин, которые приходили ко мне под мост «за платой». Платой, которой у меня не было. Меня тошнило от него тогда, тошнит и сейчас, но теперь к тошноте прибавился стыд — чужой, навязанный, горячий.

Я посмотрела на Дарвена. Он держал кубок обеими руками, костяшки побелели. Секунда, две. Я ждала. Я знала, как он умеет бить кулаком по столу — я видела это, когда один из стражников посмел сказать что-то про мою кухарку. Тогда он встал и закончил фразу одним ударом.

Сейчас он не встал.

Он опустил глаза. Медленно, тяжело, как опускают веки, когда очень устали. И выпил. Молча.

Я отложила хлеб. Горло сжалось, но я не дала себе ни звука. Внутри что-то осело, как оседает камень на дно колодца — не больно даже, просто уже не достать.

— Передайте соль, — попросила Ингрид у Герды, будто ничего не было сказано.

Я встала. Стул скрипнул по полу, и все вздрогнули, хотя я не хлопнула. Просто встала ровно, как встают женщины, когда понимают, что за этим столом им больше не сидеть.

— Я наелась, — сказала я. — Спасибо за ужин.

Дарвен наконец поднял глаза. В них было что-то, чего я не хотела видеть — ни жалость, ни злость, ни просьба остаться. Просто взгляд мужчины, который только что не защитил меня при чужой женщине. Я знала этот взгляд. Я видела его

в зеркале каждое утро под мостом.

Я вышла, не оглядываясь. В коридоре было холоднее, чем в зале, и я прислонилась к стене у двери, чтобы отдышаться. Серое платье пахло чужой каморкой и чужой кухней. Печать на запястье лежала тихо, не грела — она грела только когда мне грозила настоящая опасность, а не такая. От такой не защитит ничто.

Где-то в глубине зала Дарвен ударил кулаком по столу. Я слышала грохот через две двери и каменную стену, и звук догнал меня уже у лестницы.

У лестницы пахло сыростью и старым деревом. Я остановилась, уперлась ладонью в перила, и пальцы сами нашли выщербину, которую помнили с первой зимы. Тогда я стирала здесь руки после трав, и дерево было гладким, нагретым. Сейчас перила холодили, будто их никто не касался годами. Может, так и было.

Шаги за спиной я слышала раньше, чем успела придумать, что сказать. Шаги были тяжёлые, мужские, и шли слишком быстро для коридора, в котором якобы никто не торопится. Дарвен нагнал меня у первой ступеньки, не тронул, но встал так близко, что я почувствовала запах его рубашки — тот же, что в первую нашу зиму, только теперь к нему примешивалось вино.

— Астрид.

Я не обернулась. Смотрела на ступеньку, на которой кто-то неаккуратно стёр пятно, и думала о том, что в этом доме

я больше не имею права плакать в коридоре. Плакать можно под мостом, там никто не увидит.

— Я слышал, — сказал он тише. — Я слышал, что она сказала.

— Я тоже слышала, — ответила я. Голос вышел ровный, почти вежливый, и я возненавидела себя за эту вежливость. — Уши у меня, как видишь, на месте. В отличие от твоего кулака.

Он выдохнул сквозь зубы, и я наконец обернулась. Лицо у него было такое, какое бывает у мужчин, когда они проиграли при чужих и пытаются понять, почему не выиграли. Желвак ходил по скуле, глаза тёмные, и в них правда было что-то, похожее на просьбу. Я от этой просьбы отвернулась. Просить он умел, а делать — нет.

— Сядь обратно, — сказал он.

— Зачем? Доедать её шутки?

— Сядь, и я скажу при всех, что это ложь.

Я посмотрела на него долго, секунд пять, может, больше. Где-то в зале за стеной звякнула посуда, Герда позвала кого-то из слуг, и шаги разошлись по каменному полу, как мелкие волны. Я знала, что он скажет. Я знала, как он это скажет. Ровно, холодно, как лорд, который защищает честь дома, а не женщину, в которой ещё вчера ночевал. Я слышала этот голос на суде, когда он говорил про «доброе имя рода Вейсгард», и доброе имя рода было в его устах дороже моего.

— Нет, — сказала я.

Он моргнул. Видимо, не ждал.

— Астрид.

— Я сказала нет, Дарвен. Если ты сейчас войдёшь и скажешь «это ложь», она опустит глаза, извинится, и завтра весь замок будет знать, что я вернулась и сразу заставила лорда за меня заступаться. Заступаться за женщину, про которую ходят такие слухи. Это не защита, это вторая порция того же яда. Я не сяду обратно, чтобы ты ещё раз не смог встать.

Последнее я сказала тише, чем хотела. Он отступил на полшага, не больше, но я заметила. В коридоре стало тихо, только капала вода где-то в нише под потолком, и звук был такой ровный, что хотелось считать капли, лишь бы не смотреть ему в рот.

— Тогда что? — спросил он.

Я опустила глаза на его руку. Она висела вдоль тела, большой палец чуть подрагивал, и я знала эту дрожь. Так дрожала его рука, когда он однажды в нашу первую зиму наклонился над моей кроватью и не решался меня тронуть. Тогда я сама подалась вперёд, и он потом полночи молчал, будто удивлялся, что ему позволили. Сейчас я от этой памяти отвернулась.

— Дай мне ключ от аптечной кладовой, — сказала я. — По закону о зимней опеке. Я имею право на кров, еду и аптеку. Кров мне дали каморку под лестницей, еду я только что съела, а аптеки у меня нет. Дай ключ, и я уйду к себе. Больше я тебя сегодня не побеспокою.

Он смотрел на меня так, будто я попросила его отрезать себе палец. Я видела, как он сжал челюсть, как дёрнулась жилка у виска. Ключ от кладовой был для него не железкой. Там лежали его личные травы, его мази на случай раны, его припарки на зиму, которую он всегда ждал как личную войну. Я знала состав каждой банки. Я их сама собирала три зимы подряд.

— Зачем тебе кладовая? — спросил он.

— У кухаркиной дочки лихорадка, — ответила я. — Я слышала, как Герда шепталась в коридоре. Если не сбить жар до утра, девочка не встанет. Мне нужна сушёная липа и кора ивы. И чистая вода, но вода у вас, я надеюсь, найдётся.

Он смотрел на меня ещё секунду, и я видела, как внутри него что-то ломается и тут же срастается обратно, как кость, которую неправильно сложили. Потом полез в карман, вытащил связку, снял с неё маленький железный ключ, подержал на ладони. Я не протянула руку первая. Пусть он сам отдаст.

Он отдал. Ключ лёг в мою ладонь холодной тяжестью, и я сжала пальцы, чтобы он не звякнул.

— Спасибо, — сказала я и пошла вверх по лестнице, не оглядываясь.

Уже на третьей ступеньке я услышала, как за моей спиной тихо, почти беззвучно, он сказал:

— Я не слышал, Астрид. Я слышал. Я просто... не встал. Я остановилась. Не обернулась. Прижала ключ к груди, туда, где под серым платьем печать лежала тихо, не грела, не

жгла. Просто лежала, как метка, которую мне вернули люди, а не он.

— Я знаю, — ответила я в стену. — Я и говорю. Не встал.

И пошла дальше. За поворотом лестницы было темно, и пахло старым деревом, и где-то внизу, в зале, Герда убирала со стола, звякая тарелками. Я шла к себе, к каморке под лестницей, к чужой кровати и чужому одеялу, с чужим ключом в руке и его словами за спиной, и знала, что сегодня ночью не усну, потому что он наконец сказал правду, и от этой правды мне стало хуже, а не легче.

Кладовая пахла им.

Я открыла дверь ключом, который ещё хранил тепло его ладони, и сразу узнала этот запах — сухая полынь, смола, старые кожаные мешочки, пыль на верхних полках. Три зимы я собирала эти банки сама, мыла руки холодной водой, перебирала листья, подписывала крышки его почерком, потому что у него почерк был ровный, а у меня — куриный. Сейчас на крышках стояли чужие пометки, и я постояла секунду, покачивая ключом в воздухе, чтобы не сорвать их сразу. Не моё право. Пока не моё.

Справа, на нижней полке, где раньше стоял горький кипрей, теперь лежали мешочки с ивовой корой. Я развязала один, понюхала, сжала в пальцах — сухая, прошлогодняя, но ещё живая. Где-то за стеной заплакала кухаркина дочка, тихо, во всхлипом, и я замерла, прислушиваясь, как к больному. Жар уже поднимался, иначе девочка не плакала бы так

ровно, без крика.

Я положила кору в передник, взяла пучок липы, нашарила в углу чистую глиняную миску и кувшин с водой. Руки двигались сами, а голова была пустая, как колода. Я делала то, что умела делать лучше всего в этом доме, — спасала чужого ребёнка, и от этого знания меня слегка отпустило. Ненадолго, до первой мысли.

Первой мыслью была его рука на связке.

Дарвен снял ключ не с крайнего кольца, оттуда, где висели хозяйские, а со среднего, где раньше болтался мой собственный, тот, с синей лентой, которую я сама намотала в первую нашу осень. Ленту я не увидела. Может, он её срезал. Может, она лежала в ящике у него в кабинете, рядом с моими старыми письмами, о которых я не хотела думать. Я заставила себя считать шаги до кухни. Семнадцать по левому коридору, восемь по правому, потом вниз по скрипучей ступеньке, и дверь открывается в жар.

На кухне было натоплено так, что по бровям текло. Герда стояла у печи, вытирала руки о передник, а на лавке у стены лежала её дочка, лет семи, с мокрым от пота виском и красными пятнами на щеках. Я подошла, опустилась на корточки, положила ладонь ей на лоб. Обожгло. Лихорадка шла волной, и я почувствовала её собственной кожей, как всегда чувствовала — будто мой лоб был градусником, выдуманным под этот дом.

— Сколько? — спросила я Герду, не оборачиваясь.

— С вечера, госпожа... — она замялась, и я услышала, как она глотает слово, которое не хочет говорить при мне. Я подняла голову. Герда стояла бледная, руки у передника, и в глазах у неё было то самое выражение, какое бывает у прислуги, когда они не знают, чью сторону держать.

— Герда. Я не леди Вейсгард уже два года. Зови меня по имени. Сколько часов у неё жар?

— С вечера, Астрид. — Она выдохнула, и в голосе стало чуть теплее. — Я думала, к утру спадёт. Не спадает.

— Дай мне чистую тряпицу и вскипяти воду. Не кипяток, а такой, чтобы рука терпела. И если у тебя есть мёд — принеси, ложку. Девочке нужно пить.

Герда засуетилась, а я осталась сидеть на корточках и смотрела, как маленькая грудь поднимается слишком часто. Я помнила эту лихорадку, её саму. В двенадцать лет я болела так же, и сестра Вейра отпаивала меня ивовой корой, и я тогда думала, что выжила случайно. Сейчас я знала, что не случайно, и от этого знания руки перестали дрожать.

Краем уха я услышала шаги в коридоре. Тяжёлые, мужские, знакомые. Дарвен не ушёл к себе. Он остановился за дверью, не заходя, и я поняла это по тому, как стихло дыхание за стеной. Он стоял и слушал, как я варю отвар для чужого ребёнка в его доме, и я знала, что он чувствует. Я бы на его месте чувствовала то же самое. Я бы на его месте тоже не вошла.

Когда вода была готова, я заварила кору и липу прямо в

миске, накрыла её чистой тряпицей и дала постоять, считая вдохи. Девочка на лавке открыла глаза, посмотрела на меня мутно, испуганно.

— Тихо, — сказала я. — Будет горько, но потом полегчает.

Я приподняла ей голову, поднесла край тряпицы, смоченной в отваре, к губам. Она сморщилась, выпила три глотка, закашлялась. Я подождала, дала ещё. Герда стояла рядом, и я чувствовала, как у неё дрожат руки, и это была не лихорадка.

— Она уснёт, — сказала я тише. — Положи ей мокрую тряпку на лоб, меняй через час. Если к утру жар не спадёт, зови меня. Я буду у себя, под лестницей.

Я выпрямилась, и в этот момент дверь на кухню скрипнула. Дарвен стоял на пороге, плечом в косяк, руки в карманах. Лицо у него было спокойное, но я видела, как он сжал челюсть, увидев, что я стою над ребёнком в переднике, с мокрым пятном на рукаве. Я не убрала руку с плеча девочки. Пусть смотрит.

— Справишься? — спросил он, и голос у него был тот самый, низкий, домашний, которым он раньше спрашивал меня, когда я вставала к печи в третьем часу ночи.

— Справлюсь, — ответила я, не глядя. — Выйди. Здесь ребёнок.

Он постоял ещё секунду, и я почувствовала, как воздух в кухне стал гуще, словно кто-то подвинулся ближе, но не коснулся. Потом шаги за спиной отдалились, дверь закрылась, и

я наконец выдохнула. У девочки на лбу уже стало прохладнее, и я убрала руку, и в кармане у меня лежал чужой ключ, и я знала, что этой ночью всё равно не усну, и что это не из-за бессонницы.

Герда тронула меня за локоть, осторожно, как трогают чужую.

— Спасибо, Астрид, — прошептала она.

Я кивнула и пошла к себе, наверх, мимо его кабинета, из-под двери которого пахло вином и старой бумагой, и на секунду мне показалось, что я слышу, как он там дышит, и от этого дыхания у меня сжалось в груди так, что пришлось остановиться и опереться о стену.

В каморке под лестницей я закрыла дверь на ключ, свой, а не его, и села на кровать, не раздеваясь. На столе у окна лежал чей-то забытый подсвечник, и я зажгла свечу, и в её свете печать на моём запястье была почти не видна, и я долго смотрела на неё, и думала о том, что эта ночь — первая из девяти одной, и что я ещё не знаю, доживу ли до весны, и что Дарвен только что стоял на пороге кухни, и не вошёл, и от этого мне было больнее, чем от слов Ингрид за ужином.

Свеча оплыла на полпальца, и где-то внизу заплакала девочка, и я легла, не снимая платья, и закрыла глаза, и впервые за два года мне было кого лечить в этом доме, кроме себя.

Проснулась я от того, что в каморке стало холоднее. Свеча оплыла почти до самого металла, фитиль тлел красной точ-

кой, и в этом красном свете моё запястье с печатью казалось чужим — будто кто-то при мне нарисовал на коже чужой герб и забыл стереть. Я подняла руку, повернула к свету, и печать отозвалась тонким теплом, ровным, спокойным. Три лиги до кровного родича. Дарвен где-то в замке, под крышей, и пока я здесь, печать молчит.

За стеной, в коридоре, раздалися шаги. Не его. Легче, чаще, с шорохом ткани по камню. Линна, горничная, моя бывшая подруга, которая в ту зиму не принесла мне даже воды, когда меня выставляли из дому. Я приподнялась на локте, и в этот момент под дверь просунули бумажку, сложенную вчетверо, без подписи, без печати. Просто белый квадрат на грязных досках.

Я встала, подняла, развернула. Почерк был мелкий, топорливый, я узнала его раньше, чем прочла.

«Завтра за завтраком лорд объявит о зимней казне. Рогнар уже здесь, в кабинете. Не спускайся к завтраку, если не хочешь, чтобы тебя посадили напротив него. Он спрашивал, где ты спишь. Илма тоже не знает, где именно, но она узнает к утру».

Я перечитала дважды. Потом аккуратно сложила обратно и поднесла к тлеющему фитилю. Бумажка занялась с первого касания, я держала её над миской, и пепел упал серой крошкой. Записка без подписи, и это значит, что Линна не хочет, чтобы её имя всплыло, если Рогнар начнёт искать, кто пишет. Я её понимала. Я бы на её месте сделала то же самое.

За окном было темно, и в темноте я услышала, как внизу, под моей комнатой, хлопнула дверь. Тяжело, с тем особым гулом, какой дают только дубовые створки на железных петлях. Дарвен вышел из кабинета. Потом второй звук — шаги по лестнице, не вниз, вверх, в мою сторону. Я замерла у двери, прижала ладонь к дереву, и дерево было холодное, и через него я чувствовала, как дрожат доски под его весом. Он поднялся на площадку, остановился в трёх шагах от моей двери. Я слышала, как он дышит, медленно, через нос, как дышат люди, которые собираются постучать и не решаются.

— Астрид, — сказал он тихо, и имя прозвучало так, будто он пробовал его на вкус и сам испугался. — Я знаю, что ты не спишь.

Я не ответила. Прислонилась лбом к двери, и печать на запястье стала тёплой, заметно тёплой, и я поняла, что он стоит ближе, чем мне показалось по голосу. Три лиги до кровного родича. Две сажени до бывшего мужа. Печать не умеет считать расстояния, она умеет считать кровь.

— Я не за этим, — сказал он, и в голосе прорезалась та нотка, которую я слышала только когда он врал, что не болел, что рана зажила, что ему не больно. — Утром будет совет. Рогнар привёз бумаги. Тебе не нужно там быть.

Я отлепила лоб от двери. Голос у меня вышел ровный, и я порадовалась, что он не видит, как у меня дрожат пальцы.

— Мне не нужно там быть, — повторила я, и слово «не нужно» я произнесла так, чтобы он услышал в нём всё, что

я туда положила: и злость, и усталость, и то, что я всё-таки встала к нему, и что в его кухне я варила отвар для ребёнка, и что ключ от его кладовой лежит у меня в кармане.

— Ты слышишь меня, — сказал он, и это прозвучало почти как вопрос, хотя он не спрашивал.

— Я слышу, — ответила я. — Иди спать, Дарвен. Утром тебе нужно быть на ногах, а не на моей лестнице.

Он постоял ещё несколько вдохов, я считала, потому что не могла заставить себя не считать. Потом шаги отдалились, дверь наверху скрипнула, закрылась, и я осталась одна, и печать на запястье медленно остывала, и я поняла, что завтра спущусь к завтраку, и сяду напротив Рогнара, и пусть он сам смотрит, где я сижу и как я держу спину. Линна писала без подписи, и я отвечу ей так же — тем, что при всех назову его по имени и попрошу передать соль.

Глава 4. Чужая подпись

Фолиант лежал не там, где ему полагалось лежать. Я это поняла сразу, как только открыла дверь в архивную комнату при канцелярии замка, — по запаху. Дубовой пылью тут пахло ровно, как в любой нежилой комнате, но между стеллажами тянуло холодной сыростью, будто кто-то открывал окно зимой и забыл закрыть. Или не забыл.

Я вошла, прикрыв за собой дверь плотнее, чем нужно. Ключ от этой комнаты мне дали утром вместе с ключом от аптечной кладовой — без лишних слов, через стол домоправительницы, как будто передавали ложку. Утром я к этой кладовой даже не пошла. Сначала — сюда.

Рукава серого платья были мне длинны, и я закатала их по локоть, не глядя. Печать на левом запястье лежала тихо, тёмная, чуть теплая от кожи, и я старалась о ней не думать. Думать о ней означало думать о нём, а я сюда пришла не за этим.

Свет из узкого окна падал косо, на верхние полки, и я подставила табурет. Дубовый, тяжеленный, обитый медной полосой. Мой табурет. Я сама заказывала его шесть лет назад, когда училась вести хозяйственные книги, и мастер тогда сказал, что полоса — это лишнее, что табурет и без неё простоит. Простоял. И полоса осталась.

Нижние полки — это были отчёты, приходные книги,

мешки с мелкими грамотами. Акт о разводе должен был лежать в верхнем ряду, в папке с гербовой печатью, на третьем стеллаже от двери. Я помнила это по памяти тела: туда его положил Рогнар, я видела собственными глазами, когда меня вызывали для подписи. Туда же его положили бы обратно, если бы его вообще вынимали. Я дотянулась, перебрала корешки. Пальцы, привыкшие к травам и сырой земле под мостом, ощущали дуб и пергамент чужими, почти оскорбительно мягкими. Папка оказалась на месте.

Я сняла её, спрыгнула с табурета, поставила на стол под окном. Перевязана была не так. Раньше — тонкой серой лентой, какие Рогнар заказывал у одного и того же мастера. Теперь — бечёвкой, простой, рыночной. Кто-то снимал папку, смотрел и положил обратно. Кто-то, кому было любопытно. Или кто-то, кому было страшно.

Внутри лежал один лист. Я развернула его и прочитала первую строку, как учили: «Мы, нижеподписавшиеся, лорд Дарвен Вейсгард и Астрид из дома Серой Башни...» Дальше шло то, что я и так помнила почти наизусть, — про неверность, про добровольный уход, про раздел имущества, про возврат приданого. Моя подпись стояла внизу, мелкая, с нажимом на «д». Я тогда торопилась, мне было холодно, и я подписала не глядя, потому что Рогнар стоял надо мной и ждал, а в углу комнаты сидел писарь и делал вид, что не смотрит.

Подпись Дарвена. Я искала её глазами и не находила. Пе-

речитала ещё раз, медленнее, водя пальцем по строчкам. Там, где должно было стоять его имя, стояло другое. Рогнар. Подпись старейшины, ровная, канцелярская, с завитком на «Р», который я видела десятки раз в хозяйственных книгах.

Я перевернула лист. На обороте — пусто. Перевернула обратно. Перечитала в третий раз, как будто буквы могли перемениться, пока я дышала.

Это не его рука. Я знала его руку. Он расписывался коротко, одним движением, почти зло, буква «Д» у него всегда выходила похожей на опрокинутую вилку. У Рогнара — завитки, ровные, как у писаря. У Рогнара — печать старейшины рядом с гербом, а не личный знак лорда.

Я сложила лист и сунула за подкладку рукава. Пальцы плохо слушались. Серое платье, чужое, хозяйское, пахло мылом и чуть-чуть — кедром, и я почувствовала к нему такую злость, что на секунду забыла, зачем пришла. Не его платье, чужое. Всё чужое.

В коридоре слышались шаги. Я успела поставить папку обратно, перевязать её своей серой лентой из кармана и спрятать руки за спину, прежде чем дверь открылась. Это была Линна, моя бывшая подруга, моя бывшая предательница, с полотенцем через плечо и таким видом, будто она случайно заблудилась в собственном замке.

— Астрид, — сказала она тихо, — тебя к ужину зовут.

Я кивнула. Она не ушла. Стояла в дверях, и между нами было ровно столько света, сколько нужно, чтобы я увидела,

как у неё дрогнули пальцы на полотенце.

— Линна, — сказала я, — кто последний снимал папку с третьего стеллажа?

Она не ответила. Посмотрела на меня так, как смотрят на человека, который нашёл в своей постели не ту булавку, что потерял, и ещё не понял, больно ему будет или нет. Потом отвернулась и пошла по коридору, и я слышала, как её шаги замедлились у лестницы, будто она хотела вернуться и не посмела.

Линна свернула за угол, и я осталась одна с серой лентой в руке и листом за подкладкой. Бумага грела кожу через ткань, и от этого тепла по предплечью прошла мелкая дрожь — то ли от холода, то ли от того, что я впервые за три месяца под мостом держала доказательство, а не жалобу.

В коридоре пахло жареным луком и чьим-то несвежим дыханием. Из кухни доносился голос кухарки, тонкий и злой, — она отчитывала кого-то за пересоленный бульон. Голос был тот же, что и шесть лет назад, когда я первый раз вошла в эту кухню с корзиной трав и рекомендательным письмом. Тогда она посмотрела на мои руки, на мозоли от жернова, и сказала: «Если трава пахнет, как надо, — клади. Если не пахнет — неси обратно в поле». Я запомнила. Я много чего запомнила из этой кухни, и теперь эти воспоминания мешали мне идти вперед, как песок в башмаках.

Я заправила выбившуюся прядь под платок и пошла по коридору к лестнице. Шаги гулко отдавались под сводами —

кто-то здесь ходил в мягких туфлях, а я — в тех же сапогах, в которых уходила из дома. Подошва у правого стерлась, и я старалась ставить ногу ровнее, чтобы не хромать. Не хромать здесь, перед его людьми, было делом чести, а не удобства.

На площадке второго этажа я остановилась. Дверь в большую столовую была приоткрыта, и из неё тянуло тёплым, жирным, сладковатым духом — Ингрид заказывала к ужину медовую грудинку, и кухарка, конечно, не посмела отказать. Через щель я увидела кусок стола, край серебряного блюда и его руку на подлокотнике. Костяшки пальцев были сбиты — он, видно, утром тренировался с мечом, и я отвела глаза раньше, чем успела подумать, почему я всё ещё замечаю такие вещи.

— Госпожа, — сказала я себе под нос, — вас ждут к ужину.

Это была дурацкая привычка — разговаривать с собой вслух, она появилась под мостом, когда кроме собственного голоса и плеска воды разговаривать было не с кем. Я её не вытравила. Не смогла. И теперь, в коридоре его дома, она звучала особенно глупо.

Я толкнула дверь плечом и вошла. Ингрид уже сидела на своём месте — на хозяйском, и это было первое, что ударило меня под ребра, сильнее запаха грудинки и тепла очага. Она сидела на моём месте. На том, куда я четыре зимы садилась сама и куда меня сажал Дарвен, взяв за локоть, — жест, о котором я старалась не вспоминать, но тело помнило тяжесть

его пальцев на сгибе локтя.

Ингрид подняла голову от тарелки. Улыбка у неё была отработанная, с поворотом головы, с поворотом запястья — будто она репетировала её перед зеркалом. И репетировала, конечно. У неё всё было репетировано: и платье, и причёска, и то, как она держала вилку.

— Астрид, — сказала она, — садись, пожалуйста. Кухарка сегодня расстаралась.

Дарвен молчал. Он смотрел в тарелку, и я видела, как напрыглась у него челюсть. Он знал, что это моё место. И Ингрид знала. И кухарка знала. И, судя по тому, как замерли у двери два лакея, — весь чёртов замок знал.

Я прошла к свободному стулу, тому, что у края, где раньше сидел Рогнар. Стул был низковат, и я оказалась на полголовы ниже Ингрид. Это, конечно, тоже было не случайно.

— Благодарю, — сказала я ровно, — но я уже ела.

Это была ложь. Я не ела с утра. Живот под серым платьем свело так, что я чувствовала каждый вдох, и я положила руки на колени под скатертью, чтобы не было видно, как у меня подрагивают пальцы. Лист за подкладкой рукава шуршал, и я сжала локоть крепче, чтобы он не выскользнул.

— Как можно не есть, — сказала Ингрид, — когда в доме такая кухня. Дарвен, ну скажи ей.

Дарвен поднял глаза. Посмотрел на меня, и я увидела в его взгляде то, что видела в первый день нашего брака, — голод, спрятанный под злостью, и злость, спрятанную под голодом.

Он смотрел так, будто я была задачей, которую он не мог решить, и это было честнее, чем всё, что он говорил вслух.

— Садись, — сказал он тихо. — Поешь.

Два слова. Без «пожалуйста», без объяснений. И я, как дура, села. Не потому что он велел, а потому что ноги у меня подкосились от запаха грудинки и от его голоса, и потому что подкладка рукава жгла мне кожу, и я не хотела уронить лист к его ногам.

Мне положили каши. Я ела медленно, глядя в тарелку, и считала ложки. На седьмой Ингрид наклонилась к Дарвену и что-то прошептала, и он коротко кивнул. На девятой ложке я почувствовала, как Ингрид смотрит на меня поверх своего бокала. Я подняла голову.

— Астрид, — сказала она с той самой улыбкой, — а правда, что ты зимой жила под мостом? Я слышала, там было очень... людно.

Ложка в моей руке дрогнула. Я положила её на край тарелки, очень аккуратно, чтобы не звякнула. Рукав чуть сдвинулся, и я прижала локоть к боку, придерживая лист.

— Людно, — согласилась я. — Тифозные, бездомные, трое детей, одна старуха. Никто из них, впрочем, не носил серебряных кувшинов.

Тишина упала на стол, как мокрая скатерть. Ингрид моргнула. Дарвен медленно поставил свой кубок. Я встала, отодвинув стул обеими руками, и вышла, не оглядываясь. В коридоре было холодно, и я прислонилась к стене спиной, чув-

ствуя, как сердце колотится в горле, и как лист за подкладкой прилип к коже от пота.

Линна стояла у соседней двери с подсвечником в руках. Она смотрела на меня, и я видела в её лице то, что она не смела сказать вслух. Я кивнула ей, прошла мимо, и пальцы мои нашли в рукаве кромку листа, и я сжала её, как держат за руку того, кому нельзя помочь.

Я спустилась по чёрной лестнице, держась за перила, чтобы не наделать шума. Сапоги у меня были мягкие, подошва стёрлась до тонкой кожи, и ступени я щупала пальцами ноги, как слепая. Под лестницей, в нише, где раньше хранили ведра, кто-то забыл фонарь — масло в нём ещё теплилось, и от этого масла пахло тмином, и я вспомнила, что ровно так же пахло в подвале, когда я в первый раз принесла Дарвену мазь от его старой раны. Он тогда сидел на бочке, без рубашки, и плечо у него было синее, и он смотрел на мои руки, пока я растирала мазь, и не отрывался, и я не знала, куда девать глаза.

Сейчас мне некуда было девать лист за подкладкой. Он жег кожу сильнее, чем тминовое масло пахло.

Архивная комната помещалась в конце нижнего коридора, за дверью, которую раньше запирали на ключ, а теперь, видимо, забыли, потому что ключ торчал снаружи, в пыли. Я повернула его осторожно, чтобы не скрипнуло, и вошла. Пахло старой бумагой, мышами и тем особенным холодом, который стоит в комнатах, где никто не живёт. На столе го-

рела свеча — кто-то работал здесь утром, и я догадывалась кто, потому что на полу валялся обрывок ленты, зелёной с серебром, какие носят приказчики из городской управы.

Я села на табурет и положила локти на стол, чтобы унять дрожь в руках. Лист я вытащила из рукава не сразу — сначала развязала тесёмку, потом отогнула подкладку, потом ещё раз осмотрела комнату. Убедилась, что дверь закрыта. Свеча стояла ровно, без сквозняка.

На листе стояла дата — за неделю до первого снега. Под датой шли имена: «Дарвен из Серой Башни, лорд Вейсгард» и «Астрид из дома Травниц, бывшая хранительница рода». Под именами — строка о расторжении брака «по обоюдному согласию, при свидетелях, с возвратом печати». Дальше — место для подписи. Слева, где должна была стоять его рука, — пусто. Сухо, желтовато, без единого движения пера. Справа, под моей строкой, — мой собственный кривой ро-счерк, который я ставила, не глядя, потому что мне уже было всё равно. А ниже, под словами «скреплено властью старейшины», — подпись. Я поднесла лист к свече и прочла её по буквам, медленно, чтобы не ошибиться: «Рогнар из Вейсгарда, старейшина рода, по доверенности лорда».

По доверенности. Лорд мог и не знать.

Я положила лист на стол и прижала ладонью. Сердце у меня колотилось так, что я чувствовала пульс в кончиках пальцев. Это могло быть всё. Это могло быть объяснение тому, почему он не пришёл за мной, почему не остановил повозку

у моста, почему не написал ни строчки, пока я грела руки о чужую похлёбку. Это могло быть доказательством, что меня вышвырнули из дома без его ведома, что моя зима под аркой — не его решение, а чужое, чужими руками, чужой подписью. Это могло быть — если донести до королевского суда — концом Рогнара.

А могло быть подделкой. Могло быть ловушкой, подложенной тем же Рогнаром, чтобы я кинулась обвинять его, а он выставил бы меня безумной бывшей, которая сама не понимает, что подписывала. Могло быть, что Дарвен знал и молчал, и подпись стоит для отвода глаз. Могло быть всё, что угодно, и от этого «что угодно» меня замутило.

Шаги в коридоре. Тяжёлые, мерные, мужские. Я загасила свечу пальцами — воском обожгло, я стиснула зубы и не вскрикнула. Лист я сунула за пазуху, к самой коже, и по спине прошёл холод. Дверь открылась.

На пороге стоял Дарвен. Без оружия, без слуг, в одной рубашке с расстёгнутым воротом. Свечи за его спиной не было, и я видела только его силуэт — широкие плечи, тяжёлую челюсть, тёмные глаза, которые смотрели на меня так, будто я сделала что-то, чего он ждал и боялся одновременно.

— Я так и думал, — сказал он тихо. — Что ты придёшь сюда раньше, чем ляжешь.

— Ты следишь за мной?

— Я знаю этот дом. Я знаю, куда ты пойдёшь.

Он вошёл, закрыл за собой дверь и прислонился к ней

спиной, как будто боялся, что я брошусь бежать. В комнате стало совсем темно, только через щель в ставнях тянуло уличной влагой и далеким звоном колокола. Я слышала его дыхание. Я слышала, как он сглатывает.

— Покажи мне, — сказал он. — То, что ты нашла.

Я не двинулась с места. Лист жег мне грудь, и я знала, что, если я вытащу его сейчас, между нами что-то сломается. Или починится. Я не была уверена, чего хочу меньше.

— Зачем? — спросила я. — Чтобы ты мог сказать, что я сумасшедшая?

Он шагнул ко мне. Один шаг, не больше, но в темноте он показался мне огромным. Я откинулась на спинку табурета, и табурет скрипнул по полу, и этот звук был громче, чем всё, что мы сказали друг другу за три месяца.

— Потому что я не подписывал, — сказал он, и голос у него сел, как надломленная ветка. — Потому что я узнал об этом через неделю после тебя. Потому что я искал тебя всю зиму, Астрид.

Я не ответила. Я вытащила лист из-за пазухи и молча протянула ему в темноту.

Пальцы у него дрогнули, когда он взял лист. Я услышала, как бумага хрустнула у сгиба — слишком сильно сжал, и я подумала мельком, что теперь у меня нет акта, есть только клочок, но вслух ничего не сказала. Он подошёл к ставне, отодвинул щепку и поднёс лист к тонкой полоске света. Долго смотрел. Я слышала, как он дышит — ровно, через нос,

как дышат, когда держат себя в руках из последних сил.

— Рогнар, — сказал он наконец. Не мне. Стене. Воздуху. Себе. — Он принёс мне эту бумагу за завтраком, сказал, что ты сама ушла, что тебе лучше, что я должен дать тебе время. Я не открывал. Я не открывал конверт, Астрид. Я ему поверил.

Я молчала. Во рту было сухо, и язык прилипал к нёбу. Я хотела спросить — почему. Почему не открыл, почему не спросил, почему не пришёл сам, почему мне пришлось три месяца спать на гнилой соломе под аркой, пока ты пил утренний отвар и слушал, как старик врет тебе за завтраком. Я хотела сказать это вслух, и слова стояли у меня в горле, горячие, как угли, но я сглотнула их обратно, потому что сейчас это не имело значения. Сейчас имело значение только то, что лист у него в руках, и что я его отдала.

Он сложил бумагу пополам, потом ещё раз, и сунул в карман рубахи — на грудь, туда, где у меня только что лежал мой собственный грех. Потом повернулся ко мне, и в полоске света я увидела его лицо целиком — тёмные круги под глазами, щетину, которой утром не было, и складку у рта, которой раньше не было тоже. Он выглядел как человек, которого неделю били, не оставляя следов.

— Я заберу его у Рогнара, — сказал он. — И у тебя больше не будет доказательства.

— Я помню каждую букву, — ответила я. — И у меня есть копия в городе, у сестры Вейры. Завтра к вечеру.

Это была ложь. У меня не было копии. Сестра Вейра не знала, что я жива. Но ему об этом знать было незачем, и я смотрела ему в глаза, не мигая, пока он не отвёл взгляд первым. Он отвёл. Челюсть у него дёрнулась, и я подумала, что он, может быть, ударит меня, или схватит за плечи, или сделает хоть что-то из того, что делают мужчины, когда женщина ставит их в угол в их же доме. Он не сделал ничего. Он стоял, и руки у него висели вдоль тела, и я впервые за долгое время видела его не лордом, а просто уставшим человеком, которому некуда деваться.

— Если ты уйдёшь с этим листом в кармане, — сказала я, — я пойду к судье Норвейн. Не через Рогнара, не через гильдию. К ней. И тогда ты будешь отвечать не за то, что развёлся, а за то, что молчал.

— Я не молчал, — сказал он. — Я искал.

— Ты искал в кабинете, — ответила я. — За столом, с чашкой отвара. Ты искал, пока я мела чужой пол.

Он сделал шаг ко мне, и я не отодвинулась. Табурет под мной скрипнул ещё раз, и я перехватила его край обеими руками, потому что поняла, что если я встану, я окажусь к нему слишком близко, и тогда я не смогу думать. Он остановился в шаге, и я чувствовала тепло его тела, и запах — мыло, холодная вода, чуть-чуть того самого тмина, и от этого запаха у меня свело живот, и я разозлилась на себя сильнее, чем на него.

— Я не дам тебе уйти, — сказал он тихо. — Не в этот

раз. Что бы ты ни прятала, с кем бы ни говорила, куда бы ни положила копию. Ты не уйдёшь.

Я встала. Табурет отъехал назад, стукнул о стену, и я оказалась к нему вплотную, потому что комната была узкая, а он стоял у двери. Мне пришлось задрать голову, чтобы смотреть ему в лицо, и я ненавидела себя за то, что моё сердце колотилось так, что он, наверное, слышал.

— Ты не можешь меня не пустить, — сказала я. — Я не твоя жена. Я не твоя пленница. Я гостя по закону, и закон на моей стороне.

Он смотрел на меня сверху вниз, и я видела, как дрогнуло у него веко, и как он сжал челюсть, и как пальцы его, лежавшие вдоль тела, медленно, по одному, сжались в кулак. Потом он разжал их. Опустил руку. Отступил на полшага — ровно настолько, чтобы между нами можно было пройти, не задев друг друга.

— Тогда иди, — сказал он. — Иди спать. Утром поговорим.

Я обошла его, не повернувшись спиной, прижала локоть к боку, чтобы он не увидел, как у меня трясутся пальцы, и вышла в коридор. За моей спиной он не двигался. Я слышала это по тому, как не скрипнула ни одна половица. Я дошла до поворота, и тогда — только тогда — он закрыл за собой дверь архива, и ключ повернулся в замке, и этот звук был последним, что я слышала, поднимаясь по чёрной лестнице к своей каморке под лестницей.

В каморке я села на узкую койку, вытащила из-за подкладки свой второй лист — чистый, без единого слова, который я сунула туда ещё в коридоре, чтобы он думал, что это и есть доказательство, — и долго смотрела на него в темноте. Потом спрятала под половицу, легла, не раздеваясь, и натянула на себя серое одеяло, пахнущее чужой кладовой. Печать на запястье была холодной. Это значило, что он недалеко, и что он жив, и что этой ночью мне нечего его бояться.

Глава 5. Лихорадка на кухне

Кухня пахла палёной капустой и дымом. Я стояла у двери, не заходя, потому что чужая кухня чужая, даже если в ней умирает ребёнок.

Марта - не та Марта, что с моста, другая, кухарка с серым от муки фартуком - держала на руках девочку лет пяти. Лицо у девочки горело, губы потрескались, и она дышала так, будто у неё в груди сидел кто-то маленький и злой.

- Кто-нибудь позвал лекаря? - спросила я, и голос вышел хриплый.

Марта подняла голову. Глаза красные, но не от дыма.

- Лекарь в городе, - она качнула девочку. - А мать у неё я. И я не знаю, что делать.

Я шагнула внутрь. Меня никто не звал. Меня вообще никто не зовёт в этом доме - кроме закона, который велит меня здесь терпеть.

- Положи её на стол, - сказала я. - Где у вас травы?

Марта дёрнулась, будто я ударила её. Потом поняла, послушалась, и я увидела, как девочка запрокидывает голову, как у неё дрожит подбородок, и как пульс бьётся в ямке под ухом - слишком быстро, слишком поверхностно.

- Травы у Дарвена, - прошептала кухарка. - В аптечной кладовой. Ключ у него.

Я уже шла по коридору, не дослушав. У меня было пол-

торы минуты, пока жар не поднялся выше, и я знала, что в кладовой есть всё, что мне нужно: сушёный липовый цвет, ивовая кора, мёд, который хранится в тёмной бутылки. И ещё там, на нижней полке за мешками с солью, лежал мой старый травник, тот самый, который я привезла из дома отца, когда мне было семнадцать, - в кожаной обложке, с закладкой из ленты, которую Дарвен тогда снял со своего плаща.

Я выбросила его, когда уходила. Нет, не выбросила. Оставила на столе, потому что не могла нести лишнее. А кто-то его подобрал и положил обратно на полку, и теперь он лежал там, пыльный, целый, с моей лентой, торчащей из-под обложки, как маленький флаг.

Я взяла его, не думая, как это выглядит, и побежала обратно.

У плиты стоял Дарвен. Он пришёл, пока меня не было, и теперь смотрел на девочку, и у него было то лицо, которое я ненавидела больше всего: лицо мужчины, который не знает, что делать, и злится на себя за это.

- Оставь, - бросил он мне, не оборачиваясь. - Я пошлю за городским лекарем.

- Городской лекарь едет полчаса, - я протиснулась мимо него, и моё плечо задело его руку. Он не отодвинулся. Я почувствовала, как он напрягся, и это было почти больно - так хорошо я его знала. - А у неё жар поднимается. Дай мне десять минут.

Он посмотрел на меня. Снизу вверх, потому что я стояла у

стола, а он у плиты, и в его глазах было что-то, чего я не хотела видеть: не злость, не приказ, а усталость. Та усталость, которая появляется у людей, когда они слишком долго делают вид, что им всё равно.

- Десять минут, - сказал он.

Я развернула травник. Лента выскользнула, и я на секунду замерла, потому что узнала её: серую, выцветшую, с вышитой буквой "В", которую я когда-то расшивала сама, в первую зиму, когда думала, что у нас будет всё хорошо.

- Что ты делаешь? - спросил Дарвен. Тихо. Слишком тихо для кухни, где горит плита.

- Липовый цвет, ивовая кора, мёд, - я не смотрела на него. Я уже знала рецепт наизусть, рецепт отца, рецепт, который я записала в эту тетрадь в тот год, когда Дарвен ещё дарил мне цветы и смеялся, когда я ругалась на его слуг. - Сейчас заварю и дам ей выпить. Потом - холодное обтирание.

- Откуда ты знаешь?

- Я травница, - сказала я, и в голосе было что-то, чего я не слышала в себе уже полгода. Не злость, не сарказм, а просто уверенность. - Я всегда была травницей. Только в твоём доме от меня этого никто не просил.

Он промолчал. Я не обернулась, но я слышала, как он переступил с ноги на ногу, и я знала, что он смотрит на мои руки, на то, как я режу кору, на то, как пальцы не дрожат.

Девочка выпила отвар. Глаза у неё были мутные, и она хватала меня за рукав, и я не думала о том, чей это рукав и

чья это кухня. Я думала о том, что отец говорил мне в детстве: "Если жар не сбить за час - он уйдёт внутрь, и тогда ты потеряешь ребёнка".

Через сорок минут жар спал. Девочка уснула, и Марта - кухарка, не та, с моста - прижала её к себе и заплакала, и плакала она не от радости, а от того, что не знала, как благодарить женщину, которая месяц назад спала под аркой и ела из миски её же похлёбку.

Дарвен всё это время стоял у стены.

Когда я выпрямилась, вытирая руки о серую юбку - ту самую, в которой меня привели в замок, - он шагнул ко мне. Один шаг. Не больше.

- Спасибо, - сказал он.

Голос был низкий, почти мальчишеский, и я поняла, что он боится. Боится, что я отвечу что-нибудь, от чего ему станет ещё хуже, чем сейчас. И я не знала, что мне делать с этим страхом - выбросить его ему в лицо или промолчать.

Я промолчала. Подняла травник, прижала к груди и пошла к двери, и на пороге остановилась, потому что у двери стояла Илма.

Она смотрела на меня так, будто я сделала что-то неприличное.

- Астрид, - сказала она, и голос у неё был гладкий, как масло. - Какая трогательная забота о слугах. Настоящая хранительница.

Я не ответила. Прошла мимо неё, и моё плечо снова заде-

ло что-то чужое - не Дарвена, а её, и это было хуже.

В коридоре было холодно, и я прижала травник к себе крепче, и лента снова выскользнула, и я подумала, что надо бы её выбросить, но не выбросила. Положила обратно, между страниц, туда, где она лежала три года назад, когда Дарвен впервые поцеловал меня у этой двери.

Коридор пахнул сырой штукатуркой и чьим-то ужином — капустой, варёной костью. Я считала ступени, пока шла к своей камерке под лестницей, и сбилась на седьмой, потому что за спиной раздались шаги. Не Марта, не кухарка. Марта шаркает, у неё туфли стоптаны. Эти шаги были тяжёлые, размеренные, и я знала их так, как знают собственное дыхание.

— Постой.

Я остановилась. Не обернулась. Плевать ему в спину я не могла — законы гостеприимства, чёртовы законы гостеприимства, по которым я теперь гостя в собственном доме, — но и оборачиваться не собиралась. Травник я держала двумя руками, как щит, и лента снова торчала из-под обложки, и я знала, что он её видит.

Шаги приблизились. Остановились в шаге. Я насчитала этот шаг по памяти — всегда был один шаг, всегда, даже когда мы были женаты, даже когда он подходил ко мне ночью, даже когда злился.

— Отдай тетрадь, — сказал он.

Голос ровный. Слишком ровный. У Дарвена, когда он злится, голос становится тише, а не громче, и я потратила

три года, чтобы запомнить эту шкалу.

— Она моя, — ответила я, всё ещё к нему спиной. — Я её оставила. Кто-то поднял.

— Она хранилась в моей кладовой.

— В твоей кладовой по закону, потому что я обязана жить под твоей крышей. Не потому, что ты её хранил.

Тишина. Я почти слышала, как он сжимает челюсть. Я знала этот звук — скрип зубов, короткий выдох через нос. Когда-то меня это пугало, теперь — нет. Слишком много зубов я слышала под мостом у пьяных, которые спорили из-за медяков.

— Астрид.

Имя. Полное. Не «жена», не «бывшая», не «госпожа хранительница» — имя. Я медленно повернулась.

Он стоял ближе, чем я думала. Фонарь на стене бросал жёлтое пятно ему на скулу, и я впервые за месяц увидела, как он постарел. Не поседел — нет, ни одного седого, — а как будто кто-то стёр верхний слой. Глаза запали, у рта легла тень, и я поймала себя на том, что ищу, куда он дел мою заколку, ту, серебряную, с голубым камнем, которую я подарила ему на вторую зиму. Заколки на нём не было.

— Я сказал — спасибо, — повторил он. — Ты не ответила.

— Ты не спрашивал ответа. Ты отдал приказ. Привычка.

Его рука дёрнулась. Я увидела это краем глаза — он хотел шагнуть ещё, а потом передумал. Остался на месте. Я не была уверена, чего он хотел больше — забрать у меня тетрадь

или коснуться моего запястья, там, где под рукавом серого платья лежала его печать.

— У девочки будет рубец, — сказал он вдруг. — От ожога. Я не знал, что у неё жар.

— Не будет, — ответила я. — Если мать будет менять обтирание каждые два часа до утра.

— Марта не умеет.

— Я покажу.

Я сказала это раньше, чем подумала, и тут же пожалела. Не потому что не хотела — а потому что увидела, как у него изменилось лицо. Что-то мелькнуло и пропало, как рыба под водой, и я не успела понять, было это облегчение или голод.

— Тогда я пришлю за тобой, — сказал он.

— Я сама приду. К восьми.

— К восьми, — повторил он. — Астрид.

Я уже отвернулась. Имя догнало меня в спину, в лопатки, туда, где рукав сбился и кожа была голая.

— Что?

— Тетрадь. Она лежала три года. Я не сжигал.

Я не ответила. Шагнула вниз по ступеням, в каморку, и прикрыла дверь, и только тогда поняла, что не дышала с того момента, как он сказал «постой». Прислонилась спиной к двери. Травник прижала к груди. Лента торчала из-под обложки, серая, с выцветшей «В», и я подумала: он её не сжигал. Три года, пока я спала под аркой и ела из чужих мисок, моя тетрадь лежала в его кладовой, за мешками с солью, на

той полке, где я её оставила.

Я засунула ленту обратно, поглубже, и села на кровать, и стала ждать восьми.

Кухонные часы пробили семь, когда в дверь каморки постучали. Не костяшкой — ладонью, два раза, с паузой, и я сразу узнала этот стук: Илма. У неё были перчатки, и она стучала мягко, будто боялась оставить отпечаток на дверной ручке.

— Астрид, — сказала она через дерево, и голос шёл ровный, без придыхания. — Лорд Вейсгард просил передать, что кухаркина дочь спит, но Марта не отходит и боится. Он подумал, что ты могла бы зайти раньше.

Я сидела на кровати, уже обутая, уже с чистой тряпкой наготове. Травник лежал рядом, и я не сразу поняла, почему она здесь, в моей каморке, а не на кухне. Потом дошло: она пришла не от Марты. Она пришла узнать, пойду ли я.

— Передай лорду, что я иду, — ответила я. — Восемь я сказала, восемь и приду.

— Он будет ждать в коридоре у лестницы.

Я промолчала. Подняла узелок с тряпками, накинула серое пальто на плечи — то самое, казённое, серое, с чужой подкладкой, — и вышла, не дожидаясь её ответа. В коридоре никого не было. Фонарь на стене едва горел, копоть стекала по стеклу чёрной слезой, и где-то наверху стукнула дверь.

На лестнице стоял Дарвен.

Не у лестницы — на лестнице. Через две ступени сверху,

там, где перила делали поворот. Руки скрещены на груди, плечом к стене, голова опущена, и я увидела, что он не в парадном — в обычной серой рубаше без ворота, и ворот растёгнут, и на шее тёмная полоса, будто он не спал эту ночь или спал в одежде. Он услышал мои шаги, поднял голову, и в тусклом свете я разглядела, как у него напряглась челюсть, будто он собирался сказать что-то и передумал.

— Я не просила провожатого, — сказала я, останавливаясь на три ступени ниже. Так, чтобы он смотрел на меня сверху. Не потому, что мне это нравилось, — потому что так удобнее держать лицо.

— Я не провожатый, — ответил он. — Я хотел спросить про отвар.

— Про отвар спрашивают у лекаря днём.

— Сейчас ночь.

— Ночь — это когда я хожу к ребёнку, а не когда лорд стоит на лестнице и пугает прислугу.

Он не улыбнулся. Уголок рта дёрнулся и замер, и я вспомнила эту складку — она появлялась, когда он злился на себя, а не на меня, и раньше я её ненавидела, а сейчас не знала, что с ней делать. Я поднялась на ступень, чтобы пройти мимо. Он не двинулся. Между нами остался ровно один шаг, его чёртов один шаг, и от него пахло холодной тканью, и чуть-чуть — тем самым мылом, которым я когда-то стирала его рубашки.

— У неё была сыпь, — сказал он. — На запястьях. Я ви-

дел, когда её несли.

— Это от жара, не от заразы.

— Ты уверена?

— Я лечила три зимы в лазарете, милорд. Уверена.

Слово «милорд» вырвалось само, и я тут же пожалела. Оно звучало как пощёчина в мягких перчатках, и я увидела, как он принял её — короткий выдох, плечи чуть осели, — и поняла, что он ждал этого слова. Ждал и боялся. Он ждал, что я начну называть его как чужие, и именно это делало его безопасным для меня. Можно ненавидеть «милорда». Трудно ненавидеть мужчину, который стоит на лестнице в растёгнутой рубаше и спрашивает про сыпь у чужого ребёнка.

Я прошла мимо. На этот раз он не шагнул за мной, и я почувствовала это спиной, между лопаток, там, где рукав сбился. На кухне пахло молоком и мокрой тряпкой, Марта сидела у печки, дочка спала у неё на коленях, и я опустилась на колени рядом, и принялась за работу — обтирание, отвар, проверка дыхания. Марта смотрела на меня так, будто я пришла из другого мира, и может быть, так оно и было.

Через час девочка снова уснула ровно, и я велела Марте разбудить меня, если жар вернётся. Марта кивнула, не донеся кружку до рта, и я вышла из кухни.

Дарвен ждал в коридоре. У стены, в тени, где фонарь не доставал. Я прошла мимо, не сбавляя шага.

— Астрид, — сказал он в спину.

Я остановилась. Не обернулась.

— Ты сказала «милорд».

— Я сказала то, что говорят гостям.

— Ты не гостья.

Тишина. Я почувствовала, как печать на запястье шевельнулась — не обожгла, нет, до этого далеко, но я ощутила её тепло сквозь ткань, и это было хуже ожога. Она откликалась на его голос. Она всегда откликалась, и я ненавидела её за это почти так же сильно, как его.

— Я именно гостья, — ответила я. — По букве закона. Ты сам знаешь.

— Я знаю, — сказал он. — Но ты не гостья.

Я обернулась. Он стоял ближе, чем я думала. В полутьме его глаза были почти чёрные, и я не видела в них ни злости, ни насмешки — только усталость, такую тяжёлую, что мне захотелось отступить. Но я не отступила. Я посмотрела на него так, как смотрела под мостом на пьяных, которые лезли к моему одеялу: спокойно, без вызова, и он это считал.

— Тогда кто я? — спросила я.

Он не ответил. Его рука поднялась — медленно, будто против его воли — и остановилась в пальце от моего плеча. Я не двинулась. Тепло печати прошло по руке вверх, к локтю, и я стиснула зубы. Он не коснулся. Рука зависла и опустилась.

— Я не знаю, — сказал он наконец. — Но я не сжигал тетрадь.

Я развернулась и пошла к себе. На седьмой ступени остановилась и сказала, не оборачиваясь:

— Я тоже.

И ушла, не дослушав, что он скажет, и не зная, что именно я ему сказала — правду или ещё одну ложь, в которой мы оба запутались.

Я шла по коридору и считала собственные шаги, потому что так было проще не обернуться. Сорок два от поворота до моей двери — я запомнила ещё в первую ночь, когда возвращалась от кухни с пустыми руками и считала их просто чтобы не слышать тишину за спиной. Сегодня руки не были пустыми. На правом запястье тепло печати остывало медленно, и я чувствовала его кожей, а не разумом, и это злило сильнее, чем его голос на лестнице.

В каморке было тесно и тепло от печной трубы. Я поставила узелок с тряпками на табурет, сняла пальто и повесила его на гвоздь. Гвоздь был кривой, старый, вбитый кем-то задолго до меня, и пальто сидело на нём криво, одним рукавом вниз, и я подумала, что даже моё казённое пальто здесь выглядит чужим. Травник лег на стол, и я накрыла его чистой тряпицей, потому что бумага боится сырости, а сырости в этих стенах хватало и без меня.

Сесть я не успела.

В дверь постучали. Не ладонью — костяшкой, один раз, и стук был другим, незнакомым, и я не сразу поняла, что он принадлежит мужчине. Потом поняла — по силе. Женщина стучит мягче, даже если злится.

— Войдите, — сказала я, и голос вышел ровнее, чем я

ждала.

Дверь открылась, и в проёме стоял Роэн. Не Дарвен. Роэн Карстен, поверенный, правая рука, тень, — в сером камзоле, застёгнутом до горла, с папкой под мышкой и лицом человека, который пришёл исполнять регламент, а не разговаривать.

— Госпожа Астрид, — сказал он, и не вошёл, остался на пороге, и я оценила это: он не собирался входить без приглашения дальше. — Лорд Вейсгард просил передать.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.